



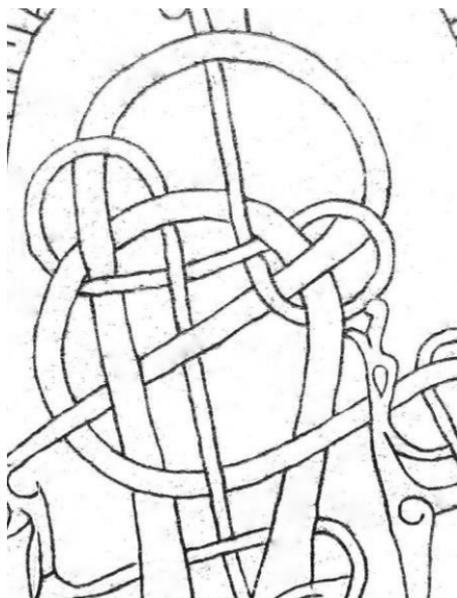
Григорий Нестроев
Из дневника максималиста

материалы по истории позднеимперской России
том 06

Издательство Упыря Лихого
2022

Наше издательство названо именем **Упыря Лихого** (Эпир Неробкий, Öpir Ofeigr), первого русского переписчика книг, имя которого мы знаем.

Соратник нормано-русских князей, священник, переписчик книг и рунорезец, Упырь Лихой своим примером напоминает нам о том, как важно без робости распространять знания и красоту среди варварства и тьмы.



орнамент на камне U-104 в Уппланде, созданном Упырем Лихим

Григорий Абрамович Нестроев

Из дневника максималиста

Издательство Упыря Лихого

2022

Книга является новым изданием (в современной орфографии), повторяющим издание 1910 года (Париж).

Примечания авторские. Вводная статья В.Л.Бурцева из первого издания не приводится. Аббревиатуры, в оригинале приведенные в старом написании («с.-р.-м.»), частично раскрыты полностью, частично даны в просторечном произношении («эсеры-максималисты»), частично в современном написании (СРМ).

Главы V-VII, содержащие теоретические выкладки автора, напоминающие заклинания и изложенные темным, заумным языком, опущены, как неинформативные и полностью непонятные для современного читателя.

Все книги из серии «Материалы по истории позднеимперской России» предназначены для свободного распространения и размещены на сайте library6.com

library6@yandex.ru

Оглавление

Глава I	1
Глава II	10
Глава III.....	26
Глава IV.....	60
Глава VIII	105
Глава IX.....	110
Глава X	128
Глава XI.....	133
Глава XII.....	147
Глава XIII	170
Глава XIV.....	181
Глава XV.....	189

Глава I

Первый год моего студенчества совпал с знаменитым в истории студенческого движения 1899 годом, когда беспорядки охватили все университетские города, вызвав дружное движение студенчества и сочувственный отклик в обществе. Это был протест против избиения студентов 8 февраля в Петербурге. В ответ на такой небывалый еще в летописях студенческих «историй» факт — правительство издало «Временные правила», одобренные «великим филантропом» Николаем II, о сдаче студентов в солдаты без всяких льгот по положению, условиям здоровья и образованию за участие в «беспорядках». И первое применение этих драконовских правил произошло в Киеве в 1900 г.: 183 студента были сданы в солдаты в самые отдаленные места Сибири и Средней Азии за то, что они решили заставить двух белоподкладочников-кутил уйти из университета за кражу у кафешантанной певицы золотого кольца. Университетское же начальство решило за такую «проделку» посадить их на двое суток в карцер. Это глубоко возмутило общественную честь и совесть студенчества и начались беспорядки против вмешательства властей в семейные академические дела студенчества, защищавшего достоинство университета и студенческие традиции. Начались беспорядки с полицией в стенах университета, с судом профессорской коллегии и жандармов и сдачей в солдаты. Последовал выстрел Карповича, явившегося мстителем за поруганное достоинство человеческой личности, за жертв произвола. Этот выстрел послужил как бы сигналом к всеобщему движению не только студенчества, но и рабочих, которое произошло через несколько дней после

Известный революционер!.. Для меня в это время революционеры-практики были неведомыми смелыми людьми, где-то и как-то борющимися с правительством царя. Я чтил их как святых людей, как мучеников за народ, но знал их по... Туну.

Революционер! Ничего выше не было для меня этого святого имени! Борец, прокладывающий путь к новому, светлому, но неизвестному мне, будущему. Борец, без страха делающий самое опасное дело, стоящий на своем посту до последней минуты.

Революционер! Какое магическое это было для нас слово, для нас, молодых студентов, рвавшихся в бой с самодержавием, ненавидевших его всей душой!

В бой! Но как? Каким путем? Вот что роилось в голове, вот о чем думали мы в это время, не зная, как решить вопрос. И вдруг — революционер... известный... Поговорить с ним... Узнать его мнение...

С бьющимся сердцем и затаенным дыханием я вошел в комнату к «известному». Он не слышал, как мы зашли, шагая задумчиво по комнате. Когда он обернулся и посмотрел на нас, я почувствовал нечто в роде страха: он напоминал Мефистофеля: концы бровей приподняты, глаза проникали в душу, лоб высокий, голова немного склонена на бок, на лице ироническая усмешка. В течение пяти дней, по вечерам, мы беседовали на разные темы. Он не старался влиять на нас, «совратить» нас, он высказывался лишь тогда, когда мы начинали разговор. Это был Григорий Андреевич Гершуни...

За эти пять вечеров он продиктовал мне, между прочим, свой «Разрушенный мол» и «реформу Ванновского», которые

мною были впервые изданы на гектографе. Эта встреча определила всю мою дальнейшую жизнь, оказала громадное влияние на меня в смысле выработки определенных социально-революционных взглядов, высказанных им вскользь во время наших мирных бесед. Хотя я «воспитывался» на социал-демократической литературе («Заря» и «Искра», многие «экономические» издания, «Рабочее дело», Рабочая мысль» и др.), но все это было не по нутру мне, все это зарождало во мне чувство недоверия даже в искренность этих социалистов. Еще в то время, когда партия социалистов-революционеров не выдвинула террористического метода борьбы, в начале 1900 года, я в письмах к товарищам студентам высказывал взгляд, что на удары необходимо отвечать ударами в прямом смысле этого слова. Смерть за смерть — это был мой лозунг. И я называл себя анархистом. Понятно, что пропаганда экономической борьбы исключительно, мысли, что всякая экономическая борьба есть уже борьба политическая не находили отклика в моей душе. Я мечтал о борьбе другой, с оружием в руках, на улице, представляя себе, что победа в открытом столкновении с городовыми, казаками, что битье стекол в субсидируемых правительством редакциях, что демонстрации, манифестации на местах, — что все это наносит значительный ущерб правительству, не только моральный, но и материальный. И поэтому «Искра», оправдывавшая такой метод борьбы, предпочиталась мною другим социал-демократическим изданиям. В общем же чувствовалась постоянная неудовлетворенность: название «социал-демократ», которое не связывалось в моем представлении с революционностью, с смелой боевой борьбой: анти-террористическая проповедь, начатая социал-демократами, все более и более отталкивали меня и заставляли крепко заду-

мываться: можно ли доверять словам? не расходится ли у них слово с делом? Так продолжалось довольно долго, пока я не прочитал «Исторических писем» Мартова, первую книгу «Вестника Русской Революции», лучшие статьи Михайловского, Туна «Историю революционного движения в России» и Степняка «Подпольную Россию». Это было то, чего я бессознательно искал. Как легко я сделался их учеником! Никаких сомнений, как будто я давно все это знал. И когда я год спустя встретился вновь с Г.Гершуни, я был уже социалистом-революционером и он «пустил меня в революцию», ввел в партию социалистов-революционеров.

Я с любовью теперь вспоминаю о том, кто дал мне возможность практически пойти по пути к правде-истине и правде-справедливости.

В начале 1902 года я был впервые арестован. В тюрьме я подводил итоги всему виденному, слышанному и подвергал критике все пережитое.

Я пытался набросать характеристику студенчества того периода, но в самом же начале натолкнулся на очень интересное и, по-видимому, сложное явление. Я знал почти всех активных участников студенческого движения в Харькове. Я знал, что большинство из них сторонники революционных методов борьбы, не боявшиеся ни увольнения, ни солдатчины, ни тюрьмы. Но я также знал, что многие из них, в дни затишья, проводили время так, как могла проводить лишь «золотая молодежь», т.е. за картами, биллиардом, и вином. Я знал целую группу ярых революционеров, которых я бы назвал

«руками» студенческих забастовок, в дни борьбы проводивших обструкцию и освистывавших черносотенных профессоров, а в дни спокойного течения академической жизни способных играть на бильярде по 18 часов в сутки, а за картами просиживать ночи напролет.

Что это за молодежь? Что можно ожидать от подобных личностей, способных вершить дела великие с таким же энтузиазмом, как и дела далеко несимпатичные?

Что можно ожидать? я вспомнил очень интересный случай, имевший место в Харькове во время февральской демонстрации 1901 года. Когда казаки, предварительно избив демонстрантов, забрали их в полицию, пять случайно не попавших в цепь студентов, среди которых был, между прочим, и технолог Кириенко (бывший депутат второй Государственной Думы, член социал-демократической фракции, сосланный на каторгу) отправились к полицеймейстеру заявить, что они, случайно не попав в число арестованных, желают разделить их участь.

Исполнить это примитивно-трогательное понимание товарищеской солидарности не удалось, так как один из арестованных, заметив пришедших, «посоветовал» им попытаться устроить еще одну демонстрацию, а не «сдаваться задаром». Они отправились, но было уже поздно: демонстрация была в полном разгаре. За час, проведенный ими в полиции, стихийно организовался протест рабочих и студентов, протест грандиозный, невиданный еще в Харькове. Могучая песнь «Дубинушки» раздавалась на двух углах против театра, а казаки свирепо лишь смотрели на дерзких и не знали, что предпринять.

Еще много других фактов, рисующих облик этой части передового студенчества с идеально-чистой стороны, припомнил я, сидя в одиночной камере. И приходилось думать, что две души живут в каждом человеке.

Не разрешив этого вопроса, я взялся за критический пересмотр своего личного мирозерцания.

Кто я? социалист-революционер или социал-демократ?

Социалистом я был давно до ареста. Ненавидя насилие, я ненавидел и неравенство, инстинктивно не терпел богачей и косился на студентов-белоподкладочников, на «прилизанных» студентов в воротничках. Это чувство не поддавалось никакому учету, никакому определению. В то же время все мои симпатии были на стороне бедноты, измученной работой, униженной сильными. И я чутко прислушивался к тому, что происходило в рабочей среде. Я видел, как под влиянием фактов жизни росло недовольство и возмущение рабочих, как поддерживали они студентов, как реагировали на все события и как относились к власти имущим, и у меня являлся вопрос: в чем причина этого? Я видел празднование 1-го мая в Харькове в 1900 году, и у меня явился новый вопрос: почему, для чего? Читая прокламации с требованиями отмены сверхурочных работ, сокращения рабочего дня, повышения заработной платы, читая брошюры и изучая политэкономия, я знакомился с жизнью рабочего, его страданиями и желаниями, выяснял себе причины протеста, причины рабочего движения и ту цель, к которой стремились организованные рабочие этого периода.

Программой моей сделался социализм, социализм, как этически должное.

В тюрьме я успел разобраться во многих вопросах, и прежде всего в вопросе о роли студенчества в революции. Действительно ли оно — сила, имеет ли значение его протест, или его выступление — напрасная трата молодых жизней и энергии? Я вспоминал речи студентов-марксистов о студенчестве во время беспорядков 1899 года.

Верна ли эта теория — теория марксизма с ее «естественным ходом вещей», презрительным отношением к революционной инициативе и ее верой во всемогущество классовой борьбы фабрично-заводского пролетариата, теория, сводящая роль студенчества в борьбе за лучшее будущее к нулю? Я видел воочию влияние студенческого протеста на общество, ту роль, будирующую стоячее болото русской жизни, которую оно сыграло. Я видел, как реагировало правительство на студенческие демонстрации. Значит оно боится их, боится их агитационного значения. Что же это за теория, которая не считается с фактами жизни? Такая теория мертва...

Отношение социал-демократов к студенчеству и было тем первым пунктом, в котором я резко разошелся со студентами, стоявшими на точке зрения социал-демократического «экономизма», и примкнул к тем, кто, не опираясь на догмы, не закрывал глаз на действительность.

Прямо отсюда я перешел к вопросу о роли революционно-социалистической интеллигенции. Сведение ее значения к нулю казалось мне совершенно непонятным. Историю «Народной Воли» я знал, правда, по Туну, но и этого было достаточно, чтобы примкнуть к тем, кто решал о великом значении этой внеклассовой группы, спаянной лишь мотивами идеологическими. Трагическая судьба «Народной Воли» ярко доказала мне, что, предоставленная самой себе, революционно-соци-

алистическая интеллигенция не может победить векового врага народа — царизма. Но из этого отнюдь не следует ее *quantité négligeable*. Может ли пролетариат без нее обойтись? Кто является создателем теорий, партий, союзов? Кто — пропагандисты, агитаторы, лекторы, референты? Интеллигенция и студенчество. Следовательно, и как внеклассовая группа, и как сумма отдельных индивидов, она — крупная величина.

Мне казалось смешным решать для ответа на вопрос о роли личности, что раньше — среда или личность.

Это было для меня верчением белки в колесе. Я брал личность в известной обстановке и ставил вопрос: может ли она своими действиями влиять на изменение среды. И бомба Гриневецкого, явившаяся причиной крутого поворота к политике Александра III, и пуля Карповича — причина «эры сердечного попечения» — были для меня двумя примерами этого влияния. Решать же, что создало те условия, которые толкнули их на этот шаг, означало бы искать начало всех начал. Это был вопрос академический, которым мы в тот период не имели времени интересоваться. В тюрьме же я попытался разобраться в теории «естественного хода вещей». Что это такое? Не нужно ли полагать, что и без людей все было бы, как теперь, под влиянием каких-то внутренних причин, появляющихся и действующих независимо от участия людей? Или это означает лишь, что созданные человеком силы, раз появившись, действуют уж потом по своим собственным законам, даже вопреки желанию людей, во вред им. Первое предположение, приводящее к квиетизму, к апатии, к самодовольству, я отрицал всеми силами души. И защитников этого взгляда, последовательных марксистов, я не мог иначе называть, как «научными реакционерами». А такие в то время были в студенческой

среде. Последователи второго толкования материалистически-экономического учения, как удалось мне подметить, были более революционно настроены. И их точка зрения на «естественно-исторический процесс» близко подходила к моей в том смысле, что для них главным двигателем истории являлась личность в конечном счете.

Чем больше я задумывался над вопросами социализма, над вопросами программными и тактическими, тем более я сознавал свою близость к социалистам-революционерам. Вспоминая горячие споры студентов об «экономизме» и «политике», я недоумевал по поводу непонимания «самых простых вещей» — как возможно завоевание социализма путем стачек; такая «тупость» вселяла лишь злобу против тех, кто запутывал «такой ясный вопрос». Вопрос о пролетариате и крестьянстве в то время еще не был так резко поставлен, но и тогда я уж чутьем понимал, что истина на стороне защитников крестьянства. Правда, я не знал совершенно ни его жизни, ни его нравов, ни правосознания. Знал лишь я о его бедствиях, голодовках, невыносимом экономическом положении. Но меня подкупало то, что почти все исследования русской деревни, с которыми приходилось знакомиться, принадлежали перу народника или социалиста-революционера; и их выводы, думал я, выводы людей лучше знакомых с крестьянством и поэтому более правдивых и близких к истине.

С такими взглядами я по выходе из тюрьмы, приступил к непосредственному практическому ознакомлению с новым для меня миром.

Глава II

В конце 1902 академического года, когда студенчество совершенно изверилось в чисто академическое движение и окончательно избрало другой путь — путь революционной, путь политической борьбы, очень живо дебатировался в разных студенческих группах вопрос тактический, который почти во всех университетских городах решался единообразно лишь передовым студенчеством, масса же, вместо отстаивания чистого академизма, колебалась. И колеблющиеся, нерешительные вдруг взяли перевес над «политиками» после вмешательства в движение генерала Ванновского с его «сердечным попечением» о молодежи. Наступила эра «сладостных ожиданий» для той части, которая плелась в хвосте движения, но которая представляла большинство студенчества. Поэтому 1901-2 учебный год не явил того единодушия, которое наблюдалось раньше. Этот год, судя по событиям, имевшим место во всех высших учебных заведениях, можно считать борьбой передового студенчества не с правительством, а с «академической» частью студенчества, силившейся удержать движение в стенах учебного заведения и не понявшей еще глубокой связи между интересами академическими и общественными. Другой характерной чертой движения этого периода была его местная изолированность, раздробленность, так что представление об общем положении дел отсутствовало у участников местного движения. И вот в момент такого-то хаоса состоялся студенческий съезд, опубликовавший «Манифест всероссийского студенческого съезда», явившийся той каплей, которая довершила стихийно начавшееся распадение общестуденческих организаций, не удовлетворявших уже запросам движения и не

могущих примирить наметившиеся в их недрах идеологии. Все организации прежних лет, преследовавшие задачи объединения студенчества на почве землячеств и других подобных им групп, целью которых была и взаимопомощь, и подготовка борцов за общечеловеческие идеалы, и выработка общественных деятелей, — все эти организации по содержанию и цели не соответствовали вновь народившейся потребности группировок и народившимся настроению и стремлению той части, которая была организована в эти землячества. С этого периода начинается их быстрый распад, а следовательно и распад объединяющих их учреждений. Лучшим подтверждением негодности этих отживших, но еще влачивших жалкое существование учреждений, служит та поразительная неосведомленность одних о других, которая так сильно влияла на разбросанность, непланомерность и неединодушные движения, что в свою очередь понижало настроение, боевой дух и вызывало недовольство *всем* студенчеством.

Съезд констатировал, что «студенческое движение есть движение политическое», своими корнями глубоко лежащее в современном общественном строе России и что борьба за права студенчества неизбежно является борьбой против правительства, но что «не вся масса студенчества вполне ясно представляет себе» роковую неизбежность такой эволюции; поэтому «съезд находит, что выяснение вопроса может и должно вестись в форме пропаганды среди студенчества». «Констатируя факт совместных действий за последнее время студентов и рабочих» в борьбе за политическую свободу, «съезд находит желательным возможно широкую пропаганду социалистических идей среди студентов», а для достижения этой цели — учреждение при всех высших учебных заведениях

постоянных организационных комитетов, состоящих в сношениях с местными комитетами РСДРП.

Третий пункт этого манифеста нашел «не менее полезным средством для достижения вышеуказанной цели» издание нелегального общестуденческого органа, посвященного выяснению вопросов общественной и, в частности, студенческой жизни.

По вопросу о тактике студенчества съезд оставил в силе применение забастовки и обструкции и выдвинул на первый план демонстрации.

Съезд высказался за учреждение общестуденческого секретариата, который бы установил правильные сношения между отдельными организациями и издавал орган. Созыв следующего съезда с указанием места и времени предоставлен был секретариату.

В среде той части студенчества, к которой принадлежал и я, начались дебаты по поводу этих резолюций. Отношение к съезду наметилось разное, но преобладающим было отношение глубоко отрицательное. Высказывалось мнение, что съезд явился следствием частной инициативы, совершенно изолированной от общестуденческого движения, что резолюции ничего нового не внесли в общественную мысль студенчества, что съезд состоял не из студентов, представителей студенческих организаций, а из партийных социал-демократов. Как бы то ни было, но верным оказалось то, что съезд и его постановления оказались мертворожденными: ни одно из них не было осуществлено. Лишь мысль манифеста об издании студенческого органа, мысль, действительно широко бродившая в студенчестве, брошенная в широкие массы, нашла своих

исполнителей. Но не потому, что необходимость органа признал съезд. Нет! Факты движения ярче всего, всяких постановлений указывали на необходимость единого органа, единой организации, задача которой - вносить планомерность в движение, бороться с отдельными вспышками, связать разрозненные студенческие организации и распространять идеи социализма в среде тех, из рядов которых вербуются всеми партиями пропагандисты, агитаторы, ораторы...

В одном провинциальном городе, куда волею «просвещенного» Ванновского собрались уволенные студенты многих высших учебных заведений и разных городов, зародилась мысль о создании той инициативной группы, которая немедленно взялась бы за реализацию постановлений съезда. Помнится, на первом же собрании высказано было предположение, что это предприятие может столкнуться с другим, подобным же, исходящим из среды участников съезда. Но это предположение, никем не поддержанное, скоро было забыто. Поднятый вопрос о направлении газеты решился в смысле ее беспартийности. За исключением одного все согласились и с этим, и с тем, что она должна проповедовать непримиримореволюционную борьбу с правительством. Цель органа — сплочение вокруг себя не только все оппозиционное и революционное, но и социалистическое студенчество, для чего необходимо было найти такое *академическое* требование, волновавшее студенчество, которое можно было бы легко и для всех ясно связать с необходимостью уничтожить современный капиталистический строй. И это требование было найдено: свобода образования, свобода в смысле общедоступности не только юридической, но и фактической. Ибо не может быть речи о свободе образования там, где большинство населения,

рабочий класс, вынужден посылать детей на фабрику вместо школы. Строй, который для своего развития нуждается в детском труде, не дает места свободе образования; иначе — строй капиталистический, будь то монархия или демократия, несовместим с свободой образования.

Когда я, встретившись в Женеве, во время печатания первого номера «Студента», с «бабушкой» (Е.Брешковская), передал ей цель органа, она, приветствуя эту попытку, усомнилась однако в возможности найти такую позицию в вопросах студенческого движения, с которой можно было бы вести внепартийную проповедь социализма. Выслушав точку зрения, по которой свобода преподавания и свобода образования возможны лишь при полном экономическом равенстве, «бабушка» удивилась «изобретательности» редакции, сказала, что это, пожалуй, может быть исходной точкой пропаганды, и прибавила: «молодежь нынче пошла бедовая, хорошая... Попытка ваша симпатичная... Но вряд ли вам удастся сплотить студентов-социалистов воедино...» И «бабушка» оказалась права.

Пункт о сплочении социалистического студенчества вокруг органа встречен был яркой критикой и нападками многих студентов социал-демократ, незадолго перед этим отстаивавших борьбу всего студенчества под знаменем социал-демократии. Но об этом ниже.

Чтобы журнал мог откликаться на все явления студенческой жизни, чтобы он затрагивал все злободневные вопросы как чисто академического, так и политического характера, чтобы своевременно давать на все это ответы, чтобы чувствовалась живая связь органа со всем студенчеством, решено было издавать орган в России. Но насущной задачей своей группа считала созыв нового съезда для выбора редакции обществу-

денческого органа, беря на себя пока лишь подготовительные работы по изданию — сношение с типографией, выяснение условий, раздобывание средств, заготовление статей и т. д.

Приблизительно в октябре 1902 г. Одесский Союзный Совет, узнав об этом, отправил делегата к инициаторам дела с запросом: намерены ли они исполнить постановление нашего первого собрания, совпавшее с постановлением Одесского Совета о необходимости в данный период студенческой борьбы беспартийного студенческого органа с широкой общеполитической платформой. Если да, то Союзный Совет окажет им свое содействие. Это обещание было уже чем-то реальным. Мы ощутили под собой почву. Передовая статья нового органа не вызвала дебатов в среде редакции, была принята и одесским делегатом. Тут же было решено организовать съезд в декабре 1902 г., к которому должен быть готов первый номер журнала. Вследствие провала типографии, обещавшей напечатать первый номер, приходилось искать другую.

Я направился в Киев. Здесь надеялся я раздобыть связи со всеми другими университетскими городами. Имея адрес лишь одного студента социал-демократа, я пытался связаться с Союзным Советом и Организационным Комитетом и узнать их взгляд на наше предприятие. Для нас, взявшихся за издание органа, было важно мнение киевлян, застрельщиков почти во всех студенческих «историях», у которых движение протекало организованнее и планомернее, чем повсюду. Мы смотрели на Киев как на место, где студенчество более всего революционизировано и где оно почти первое признало необходимость перехода на путь революционной борьбы.

В это время Киевский Союзный Совет объединенных землячеств и организаций и Организационный Комитет Киевско-

го Политехнического Института выпустили свое «открытое письмо Союзным Советам и Организационным Комитетам высших учебных заведений России, в котором указывают, что «студенчество, как таковое, не может примыкать всецело ни к партии социалистов-революционеров, ни к социал-демократической», ибо оно «представляет из себя источник, из которого вербуют себе членов, как обе указанные партии, так и другие революционные организации и группы». «Руководствуясь подобными соображениями, Киевский Союзный Совет и Организационный Комитет единогласно постановили предложить более широкое толкование параграфа II Манифеста Всероссийского Студенческого Съезда в том смысле, что студенчество, выражая сочувствие всем действующим в России революционным организациям и будучи проникнуто сознанием необходимости возможно широкой пропаганды социально-революционных идей в среде учащейся молодежи — находит желательным, чтобы Союзные Советы и Организационные Комитеты входили в сношения с местными комитетами действующих партий, независимо от фракционных различий».

Против подобного выступления Союзного Совета поднялся поход студентов социал-демократов. И так как в это время и университет, и институт были спокойны и выжидали, то поднявшаяся полемика всецело захватила студенчество, разбившееся на две неравномерные части: 1) социал-демократов и 2) социалистов-революционеров со всеми беспартийными революционерами, оппозиционерами и просто беспристрастно мыслящими. Социал-демократы нападали на эсеровский Союзный Совет, доказывая, что студенчество в целом *может* быть связано лишь с одной частью социалистов, а *должно* быть связано с социал-демократами, единственными выразителями

интересов рабочих, с которыми студенчество идет теперь рука об руку.

Явившись к студенту, к которому у меня была явка, и изложив ему суть нашего предприятия и цель приезда, я был сразу огорошен: «Зачем вам орган? Студенчество, как таковое, не имеет идеалов. Они имеются лишь у т.н. передового студенчества. А теперешнее передовое студенчество, революционное, может иметь значение лишь соединившись с общереволюционной организацией, вернее с организацией пролетариата. Составив одно целое с социал=демократами, оно не нуждается в особых органах: органы социал-демократические, пролетарские — суть органы студенчества. Лишь их студенты должны читать, с ними знакомиться, а не затевать никчемное предприятие».

Огорошенный таким приемом, я отправился к своим знакомым, сильно «сконфуженный». Неужели, думал я, все так-вы? Я ошибся. Члены Союзного Совета, к которым меня отправили, очень серьезно отнеслись к нашему предприятию, нашли вполне своевременным выступление с общестуденческим революционным органом, обещали свое содействие и в материальном отношении, и в смысле распространения этой идеи, признали приемлемым попытку сплочения студенчества в целом вокруг академически-социалистической точки зрения о недоступности общего образования в строе капиталистическом, нашли необходимым созыв студенческого съезда, программа которого была выработана редакцией «Студента». Передав ее на обсуждение Киевского организованного студенчества, я должен был отправиться дальше, но... не мог достать связей: ни Киевский Союзный Совет, ни Организационный Комитет не могли мне помочь — так велика была изолирован-

ность одного города от другого. Помогла мне простая случайность. Зайдя к одному из своих знакомых студентов, я встретил там Григория Андреевича Гершуни, который своими партийными связями оказал существенную помощь делу создания органа и организации третьего общестуденческого съезда.

Получив от него харьковские и петербургские явки, я направился в Харьков, где Союзный Совет совершенно равнодушно отнесся и к «затее», хотя и обещал послать своего делегата, и к программе, в которую, между прочим, были включены такие пункты, как зависимость студенческого движения от капиталистического развития России, влияние капитализма на перемену содержания движения, зависимость дифференциации в среде студенчества от промышленного развития страны и т.д. В Москве, несмотря на сильные розыски, так и не удалось никого найти, в Петербурге удалось войти в переговоры с двумя студенческими организациями, которые сочувственно отнеслись к этому делу; в Риге программа вызвала оживленные дебаты между членами Организационного Комитета; в Юрьеве обещали сделать все для прибытия на съезд, а в Варшаве мало интересовались русскими делами вообще и делами русского студенчества в частности.

Съезд этот, назначенный в одном из южных городов, не состоялся. Явились лишь представители редакции «Студента», два киевских делегата и один рижский. Решено было отложить созыв съезда на февраль 1903 г. и предложить Киевскому Союзному Совету привести в исполнение это постановление. Но общая апатия, которая охватила в это время студенчество, оказала свое действие. То постыдное равнодушие, которое присуще широким массам после поражения, захватило в свои цепкие лапы и студенчество, впавшее в уныние после несколь-

ких лет непрерывной борьбы, потери самых лучших своих борцов, расстройств всех старых организаций, отживших к этому времени свой век, и отсутствия новых, могущих взять на себя дело сплочения всего передового студенчества для общей, сознательной и планомерной борьбы против насилия и произвола. Для инициаторов съезда стало выясняться общее настроение студенчества начала 1903 г. и, поэтому, они тем энергичнее решили действовать, чтобы во что бы то ни стало создать тот центр, который мог бы взять на себя эту задачу.

Собравшиеся в Киеве делегаты Новороссийского Союзного Совета, «Студента», Киевского Союзного Совета и Организационного Комитета решили в виду такой неудачи организовать пока выпуск первого номера общестуденческого органа.

Типография «Южной революционной группы социал-демократов», взявшаяся выпустить первый номер и получившая уже 200 руб., заявила, что она не может выполнить обязательств вследствие якобы ареста типографий и всех рукописей. Приходилось перенести печатание за границу, что немедленно и было исполнено. Один сочувствовавший этому делу либерал дал для этого предприятия денег и в средних числах марта я уже был в Женеве.

Я очутился в совершенно новом для меня мире, среди главных деятелей русского социал-революционного движения. В течение нескольких недель я знакомился с новыми для меня лицами, с новой для меня обстановкой. Я бывал не только в социал-революционных кругах, но и в социал-демократических, желая поближе узнать тех, кто распоряжается не только

судьбами русской революции, но и судьбами отдельных лиц и целых групп. Меня интересовала не только теория той и другой эсеровской фракции, не только формы полемики, которая у эсдеков была и грубо неприличной, и, временами, остроумной и беспощадно-жестокой, но и личности, их жизнь, их психология, нравы и привычки. В России я относился к ним, как к людям высокой нравственности, и полагал, что и в личной их жизни они так же чисты и высоки, как и в революционной, ибо представление о них я имел теоретическое. Желябов, Перовская, Лизогуб и Халтурин — вот кто носился предо мною, вот с кем я сравнивал всякого революционера. С такой меркой я в то время подходил ко всем партийным личностям. Но, познакомившись поближе с партийными людьми за границей, я внес корректив в свой «примитивный» взгляд.

Я понял прежде всего, что мое представление о революционерах не совпадает с действительностью. Я увидел пред собой очень много хороших и преданных делу революции людей, но далеко не святых и не героев. В большинстве это были люди со всеми человеческими слабостями и желаниями, подчас с мелким самолюбием и самомнением, качества, которые сильнее всего проявляются, как я думал, у революционеров-эмигрантов и менее всего у революционеров, действующих в России. Но было много и таких, которые укрепляли меня в том, что жив еще революционер 70-х и начала 80-х годов, жив еще его дух не только в среде социалистов-революционеров, но и в среде рядовых социал-демократов. Только рядовых! И одной из причин роста партии социалистов-революционеров было то, что в ней такого деления не существовало. «Генералы у социалистов-революционеров в то время ничем почти не отличались от офицеров и солдат эсе-

ровской армии: скромность и истинно товарищеское друг к другу отношение — вот что привлекало и манило к себе молодежь. Ни заносчивости, ни гордости... Слова, и проповедь социалистов-революционеров совпадали с делом. Личная жизнь эсеровских вожаков и их жизнь общественная вытекали из признаваемых ими принципов. И когда это становилось известным в далеких углах России, когда пропагандисты и агитаторы, побывав за границей, рассказывали о жизни вождей, — сердца и симпатии многих молодых революционеров всецело отдавались этой СР фракции. Как люди, социалисты-революционеры стояли выше социал-демократов. Это было общее мнение всех — и молодежи, и «общества». И этот взгляд складывался даже у тех, кто никогда не видел ни тех, ни других: исключительно под влиянием формы той полемики, которая в то время велась социал-демократами...

Познакомившись с одним довольно известным социал-демократом Б., я как-то завел разговор об этой полемике. Б. вдруг переменялся, сделался неузнаваем. Оскорбления за оскорблениями сыпались из его уст по адресу «врагов». И как ни высоко ставил я его, как революционного деятеля, но чувство возмущения не могло не появиться, видя такое отношение к социалистам-революционерам. Из всех его слов, из всей его речи вытекало одно: мы непогрешимы, у нас истина и ни у кого другого. Невольно вспоминал я времена испанской инквизиции и радовался, что прошли уж они безвозвратно.

В первых числах апреля 1903 года появился, наконец, сильно урезанный за недостатком средств, первый номер «Студента», посвященный памяти С.В.Балмашева. Довольно тощий на вид, мало интересный, появившийся не вовремя, в конце учебного года, он однако был сочувственно встречен

теми организациями, которые ожидали его появления. В Киеве, Одессе, Харькове, Екатеринославе и некоторых провинциальных городах он был распространен в довольно большом количестве экземпляров, вызвав всевозможного рода толки и разговоры; между прочим, и якобы о социал-революционном направлении органа. Этот скороспелый вывод был сделан из факта посвящения «Студента» памяти С.Балмашева и из факта помещения редакционного протеста против полемических красот «Искры» по делу убийства Сипягина. А между тем посвящение было написано протест же принят был единогласно всей редакцией. Более беспристрастные, считая помещение этих статей лишь актом справедливого и здорового революционного чутья, обратили внимание на недостаточную содержательность первого печатного общестуденческого органа, обещав все же свое содействие.

Собранные мною мнения необходимо было передать в редакцию. Но в это время все члены ее принуждены были эмигрировать — приходилось следовать за ними, чтобы установить правильные сношения заграничной редакции со всеми университетскими городами и выбрать представителей редакции в России.

В августе 1903 года я приехал в Харьков для организации студенческих групп «Студента», которые должны были быть революционными, социалистическими, но беспартийными. Целый месяц бился я над созданием хотя бы одной такой группы, но безуспешно. Особенно сильную оппозицию составили студенты социал-демократы, точка зрения которых

заклучалась в том, что социализма беспартийного быть не может. Всякая проповедь социалистических идей связана с вопросами тактики, с вопросами, как осуществить социалистический строй. Это вызывает целый ряд других вопросов, освещение которых возможно лишь с партийной точки зрения. Останавливаться же на полдороге никакая организация не должна, более того — не сможет при столкновении с русской действительностью. Если бы создалась такая организация, говорили они, то скоро там возникнут споры и раздоры, которые и разложат эту группу. Все указания на то, что эти организации ставят себе цель — пропаганду идей социализма и только, что в вопросах партийной тактики они могут быть и не согласны, лишь бы сходились в вопросах тактики общестуденческой — не приводили ни к чему. Сильно смущенный этим, я отправился в Киев, где было решено приступить к организации съезда. Мне пришлось присутствовать на двух заседаниях Союзного Совета, который в это время был в руках студентов социал-демократов, стоявших на точке зрения последнего общестуденческого съезда. Присматриваясь к членам Союзного Совета, слушая речи социал-демократов и социалистов-революционеров, я пришел к заключению, что последние могут быть и стараются быть более или менее беспристрастными. Было время, в 1902-3 учебном году, когда Союзный Совет был в руках социалистов-революционеров. И несмотря на то, что все прокламации этого периода писались с сильным оттенком СР, все же никто не распространял взглядов, что Союзный Совет, как представитель всех студенческих организаций, должен принять программу социалистов-революционеров, что лишь эта программа истинна, верна, непогрешима. Эта социал-демократическая узость, нетерпимость,

самоуверенность неприятно действовали на студенчество и это было одной из тех причин, которые способствовали внедрению в студенческие массы идей социал-революционных.

События начала 1903-го учебного года показали на практике, что Союзные Советы потеряли все свое значение, что они не могут уж быть руководителями движения, что нужна новая организация, более стойкая, жизненная. Но никто не мог определить ее характер. Все говорило за необходимость скорейшего созыва съезда, съезда компетентного, общестуденческого.

Я вновь отправился по университетским городам и в конце ноября состоялся, наконец, съезд, сыгравший крупную роль в деле пересоздания студенческих организаций. Он призвал к жизни коалиционное делегатское собрание, объединенное вопросами тактики, чем сделал излишним выработку Союзным Советом своей программы. Этим самым он внес живую струю в ту атмосферу споров и раздоров, которая царила в землячествах, этим самым все было расщеплено на свои составные части. Существенную роль в деле создания нового типа общестуденческих организаций сыграл... петербургский делегат, социал-демократ.

Кроме этого съезд постановил признать «Студент» общестуденческим органом, но придать ему характер органа непартийного, объективно отражающего настроение студенчества, с обязательным сохранением «свободной трибуны» и организовать филиальные отделения редакции в России. В это время вышел уже очень содержательный 2-3 номер «Студента», о

котором говорили, что он заражен социал-демократическим духом¹. Это и заставило съезд резко подчеркнуть свою позицию. Мне казалось уже тогда, что это постановление мертво. Новая организация не нуждалась в постоянном органе, ибо она сама была организацией временной, и поэтому ни социал-демократические, ни социал-революционные группы не оказали «Студенту» помощи после съезда ни материально, ни морально. Не было людей, которые взялись бы за создание филиальных отделений, за правильную доставку органа в Россию. Все шли в партии. И пишущий эти строки сейчас же после съезда отправился туда же. Наступал один из тех периодов, который втягивал в свой круговорот всех сознательно относившихся к явлениям русской общественной жизни.

1 См. «Студент» №2-3, «Заявление от редакции» и «по поводу движения в средней школе».

Глава III

Моя работа на юге России совпадает с периодом 1902-4 годов. С рабочими, их взглядами, стремлениями, пониманием всего происходящего, отношением к партиям и правительству я был знаком теоретически, книжно. Брошюрная и прокламационная литература того периода трактовала о тяжелом положении рабочего класса, о необходимости борьбы с капиталом, о необходимости политической свободы. Рабочие как будто откликнулись на этот призыв, как будто поняли всю эту проповедь и открыто выступили на улицу с этими требованиями. Организации их росли и крепили, литература социалистов читалась ими с интересом. Все это я знал. Но их психология, их душа, их *собственные* мысли и дела были мне неведомы. Союз науки и труда, провозглашенный студентами, обязывал «науку» *знать* тех, кому протягиваешь руку. И я еще студентом мечтал о том, как пойду в рабочие кварталы, как буду беседовать с рабочими, как я увижу вплотную их жизнь, жизнь в домашнем кругу, жизнь на фабрике. Но эти мечты осуществились лишь тогда, когда волей Николая II я вынужден был безвыездно прожить в течение года в одном из городов южной России, где еще не было организации социалистов-революционеров, но где сравнительно крепко осели социал-демократы, примыкавшие по своим воззрениям к группе «Южного рабочего».

Попав туда в момент полного разгрома группы и ареста почти всех лучших работников и руководителей местного движения мы, целая группа студентов, естественно приняли участие в восстановлении разгромленной организации. В это время (май 1902 г.) нетерпимость социал-демократов не была

еще так велика, чтобы нельзя было ужиться рядом с ними в тех городах, где местные условия не позволяли не только проповеди террора, но даже проповеди политической борьбы. Это был один из тех углов, где экономизм пустил слишком глубокие корни, чтобы события 1901 года могли их вырвать. Не пытаясь резко сойти с проложенного до нас пути, не пытаясь сверху навязать рабочим чуждую им точку зрения политической борьбы, мы решили удовлетвориться пока «малыми делами» и вступить в святыя святых многих из нас — в *рабочую* организацию. И начал я с занятий в кружках.

В маленькой, окнами во двор, комнате, при тусклом свете лампочки, собирались поочередно кружки, человек в 7-8, после утомительного рабочего дня. Становилось жарко, душно, пот катил градом. Я всматривался в тех, кто после работы отправлялся слушать пропагандиста, а не отдыхать.

За редким исключением все были внимательны, на лицах не замечалось даже печати утомленности, недовольства. Изучение основ того, «что должен знать и помнить каждый рабочий», было для них залогом крепости организации. Если подымался спор, то исключительно программного характера, отнюдь не тактического. Единственным средством борьбы для них была местная стачка. Почти вся организация состояла из мирных ремесленников евреев, веривших, что социализм уничтожит классы, а вместе с ними и нищету, что социалисты их лучшие друзья. Вместе с молодыми пропагандистами — интеллигентами, вместе с рабочими всей России они верили, что социалист, стремящийся установить другой экономический строй, должен быть и революционером; что не тактика, не те или иные средства борьбы, которые текучи, а программа и только она характеризует партию и ее истинные цели.

Несмотря на все наше беспристрастие, эта культурно-социалистически-экономическая работа продолжалась недолго. Под влиянием общероссийских условий, под влиянием харьковских и полтавских событий, убийства Сипягина и казни Балмашева менялся и характер наших бесед. От экономизма делался шаг к политизму, который окончательно получил право гражданства после ростовской стачки рабочих, захватившей многие отрасли промышленности и показавшей, что революционное и политическое настроение среди рабочих быстро растет. Клич «да здравствует политическая свобода!» был подхвачен прежде всего пропагандистами-интеллигентами и постепенно передавался через организованные кружки в рабочую среду, где шли уже толки на эту тему. В это время никто не отдавал себе отчета в возможности разных степеней этой свободы, в которую вкладывалась анархически-индивидуалистическая сущность, как и во все туманные термины, употреблявшиеся в то время. С энтузиазмом, глубокой верой в свою правоту начали мы проповедовать необходимость «свобод» для борьбы за социализм, необходимость новой тактики, устарелость «испытанного боевого оружия пролетариев всего мира» — стачки. Понемногу рабочие были сдвинуты с той мертвой точки, на которой мы их застали в середине 1902 года, и они даже начали интересоваться вопросом террора. В целях противодействия увлечению масс этим «опасным» методом борьбы, явилась необходимость в критике его со стороны социал-демократов на собраниях наиболее развитых и сознательных рабочих, через которых критика эта передавалась в массу. Мне казалось в то время, что моя защита террора не оказывает никакого влияния на рабочих и не имеет приверженцев среди тех, кто воспитывался на идеях социал-

демократического экономизма. Правда, я апеллировал к теории «естественно-исторической необходимости», чтобы сокрушить все нападки социал-демократов, доказывал, что появление, как стихийного, неорганизованного террора, так и организованного, партийного, есть следствие естественного хода вещей, явление положительное, и что борьба против него — борьба против естественного хода исторического развития, стремление повернуть назад колесо истории, стремление реакционное; что если бы удалось остановить начавшийся разлив террористической борьбы, то этим самым доказали бы, что история — следствие не каких то вне нас лежащих сил, а следствие человеческой работы, усилий, желаний и стремлений, т.е. они опровергли бы свою собственную «научную» теорию экономического материализма. Но презрительные улыбки, которыми встречали мою «ересь», сильно колебали мою уверенность в неопровержимость моих доводов, а главное в то, что они поняты. Лишь через 4 1/2 года я узнал, что моя пропаганда социал-революционной тактики на этих собраниях принесла плоды — один рабочий, которого я встретил, самый ярый сторонник экономизма, горячо против меня выступавший, перешел в ряды социалистов-революционеров, а потом и максималистов. Уже в это время центр тяжести расхождений постепенно передвигался из плоскости программы в плоскость тактики. Ведь цель, говорили местные защитники террора, оказавшиеся и в рабочей среде, у всех социалистов одна, различны же методы осуществления цели. И поскольку методы не приближают нас к цели, а отдаляют, постольку и приверженцы их бессознательные реакционеры, с которыми совместная работа невозможна и вредна. Вполне разделяя эту постановку вопроса о разногласиях между разными течениями

социально-революционной мысли, приходилось думать о самостоятельной работе в духе социал-революционизма, который тогда отождествлялся нами с «исправленными» взглядами «Народной Воли». Такая попытка была сделана задолго до появления в этом городе официальной группы партии социалистов-революционеров. Воспользоваться имеющимися связями с рабочим миром, благодаря участию в социал-демократической организации, мы считали революционной непорядочностью и потому пришлось выжидать пока приехал рабочий из Колпина, считавший себя социалистом-революционером. Он поступил на завод и успел сагитировать первый кружок. Но скоро все активные эсеры оставили город, кружок распался, успев издать одну прокламацию к рабочим без всякой примеси экономизма.

Начиная с августа 1903 г., оставшись на некоторое время в Харькове, я сделал попытку работы здесь совместно с Николаем Коршуном. Он был казнен, кажется, в 1907 г. в Иркутске после неудачного покушения на генерала Ренненкамппа.

В начале нашей работы нам пришлось столкнуться с группой рабочих, оказавших сильное сопротивление нашей проповеди. Это было сейчас после знаменитой всеобщей стачки южных рабочих 1903 года, охватившей почти половину промышленности России; она показала всю опасность правительственного заигрывания с рабочими и силу массового движения; она привела к практическому выяснению той точки зрения, что натиск на одну из сил современного режима сопряжен с борьбой против всех его защитников и, главным

образом, против самодержавия; она, наконец, резко поставила вопрос о знамени, под которым должна продолжаться борьба. С этого времени усиливается натиск на рабочий класс социал-демократов и социалистов-революционеров, пытавшихся завоевать его симпатии и веру. И наша попытка в Харькове принадлежит к одной из тех попыток, которая дала мало результатов. При первой же встрече с рабочими нас спросили о нашей партийной физиономии.

— Нам важно это знать, так как мы, ведь, рабочие, сказали они.

И когда они узнали, что мы социалисты-революционеры, то «наморщили чело»...

— Мелко-буржуазная партия... Мелко-буржуазная тактика (террор) и защитники крестьянства, мелко-буржуазного слоя — таков был приговор, вбитый им в голову.

Николай Коршун прочитал им целый реферат в защиту крестьянства и закончил указанием, что рабочим, знающим всю тяжесть жизни рабочего класса, стыдно обвинять, да еще с чужих слов, своих братьев и отцов, гораздо более их страдающих, что партия социалистов-революционеров, выражая интересы трудового народа, будет звать и многомиллионное крестьянство к борьбе вместе с пролетариатом против вековых его угнетателей, что рост крестьянского движения показывает, что крестьянство способно к этой борьбе, что оно ведет ее под знаменем «Земли и Воли», и способно воспринимать, как и пролетариат, идеи социализма.

На мою долю выпала защита террора, вскрытие всех его положительных сторон и доказательство, что без него обойтись нельзя.

Они молчали... Не могли возразить. Но это было молчание людей, оставшихся при своем мнении. Мы условились вновь встретиться. Но на этот раз пришел лишь один предупредить, что никто не явится, ибо — «не хотят слушать». Мы расстались. Через несколько дней один социалист-революционер предложил прийти к группе рабочих, ищущих связь с социалистами. Мы отправились, но... встретили тех же. Увидя нас, они смутились и... ушли.

Наши поиски связей привели к знакомству с двумя убежденными рабочими, принадлежавшими к двум лагерям: один был революционер, другой — независимый социалист из организованных в профессиональные рабочие союзы. Когда мы заговорили с первым о южной стачке, он сказал:

— Опередили мы вас, социалистов-то. Вы позади остались. Быстро шагает рабочий. Только вот что я вам скажу: сила его и стойкость может проявиться лишь тогда, когда он требует чего-либо конкретно-определенного; а как только он переходит к требованию отвлеченных политических свобод, то сходит, как будто, с твердой почвы, он теряется, расплывается. Нужны ведь ему эти самые свободы. А между тем, не видя перед глазами того, чего добивается, не имея возможности, так сказать, его ощупать, он, как будто, отрывается от материи-земли и теряет свою силу.

Если еще революционеры стоят во главе и пользуются влиянием, то это бессилие не так заметно; но когда движение стихийно, как в последних всеобщих стачках, оно сильно дает себя чувствовать. Как вы думаете? закончил он.

Я не был подготовлен к такому вопросу, но мне казалось, что он не совсем прав. Ибо были факты, говорившие против

него. У нас завязался спор. Он горячо отстаивал свою точку зрения, кратко, но ясно формулируя свои положения.

—Вы, революционеры-интеллигенты, тем и отличаетесь от рабочих, что способны за отвлеченное бороться с таким же энтузиазмом, как и за материальное. Захват ли земли или свобода слова — для вас едино. И за то, и за это готовы вы голову сложить. В этом ваше преимущество. Вы идейнее нас, что ли. Мы более грубы. Но в этом наша сила — держась за грубо-материальное мы не так быстро воспламеняемся, но и не так быстро потухаем. Мы поэтому сильнее вас, хотя вы развитее.

Незаметно наш разговор коснулся религии. Он оказался атеистом. Национальной нетерпимости у него не было. Женат был на еврейке; еврейский народ считал народом культурным и революционным.

Совсем другого склада ума и воззрений оказался другой рабочий. Явился он ко мне изысканно одетый и чувствовал себя непринужденно. Зная его отношение к «рабочим кассам» и «рабочему дому», я затеял разговор на эту тему. Он доказывал, что эти учреждения служат делу сплочения рабочих, что профессиональные союзы лучше политических партий раскрывают глаза рабочим, но что необходимо все же идти руку об руку с революционерами, так как нет элементарных условий равной борьбы между рабочими и капиталистами.

«Рабочие на опыте должны увидеть всю эфемерность их надежд на мирное решение рабочего вопроса и тогда они сами пойдут по другому пути. Слова слабее фактов. А зубатовщины мы не боимся. Здоровый дух, здоровое чутье и логика рабочего движения приведут нас к тому же, к чему пришли и вы. Но зато

мы будем крепче вас, ибо придем туда без вожаков, без давления извне».

В его словах я чуял уже тогда противопоставление рабочих союзов политическим партиям. Но это казалось нам большой ересью, ибо вне партий мы тогда не видели спасения, мы были ослеплены партией. И естественно, что спор возгорелся страшный. Но вряд ли рабочий был побежден.

В конце этого же года я переехал в Екатеринослав. Это один из тех городов, на который были направлены все силы социал-демократии с целью его «завоевания», ибо этот пункт, «бывший прежде довольно ничтожным губернским городом, превратился в столицу нового края», богатого рудой, железом и каменным углем. Казалось бы, что утверждение, более или менее прочное, в этом месте социалистов-революционеров в дни «могущества» социал-демократов, в 1902-3 годах, должно было быть довольно трудно. Между тем на опыте оказалось, что это далеко не так. То, что пугало рабочих других районов, — боевой дух и боевая тактика социалистов-революционеров того периода, — здесь оказывало притягательное действие. И объясняется это тем, что рабочие этого города и его окрестностей самые боевые рабочие из всей российской трудовой массы. Ни один город не выделил такой массы террористов и экспроприаторов, как Екатеринослав. Начиная с организованной и планомерной всеобщей стачки 1903 г. и кончая октябрьскими и декабрьскими днями, когда не только город, железные дороги, станции были в руках рабочих, но когда несколько тысяч чечелевцев (жители предместья города) ждали с минуты

на минуту, пока стачечный комитет найдет вагоны, нагруженные ружьями и патронами, чтобы вооружиться и захватить все банки, заводы и фабрики, — екатеринославские рабочие стояли во главе русской революции. Ни на одну местность не падает столько вооруженных столкновений и смертных казней. Смелость, предприимчивость и бесстрашие, — такова характеристика этих рабочих, и пришлых, и местных, имеющих родоначальниками энергичных переселенцев. Понятно, что социал-революционная тактика 1903-4 годов и привлекла в партию все лучшие боевые силы рабочего класса. Когда я столкнулся с местным рабочим, я увидел, что он не тот, которого я знал до сих пор — не ремесленник, не независимый социалист, а полный боевой энергии и жажды борьбы, не «экономист», борющийся за прибавку пятачка на рубль, а революционер, признающий все методы борьбы — от стачки с насилием до вооруженных демонстраций и террора. В начале 1904 года здесь уже образовалась боевая рабочая дружина. К ней принадлежал и Василий Бабешко, казненный в июне 1907 года, уже как анархист.

В этот город я попал совершенно случайно. Сейчас после общестуденческого съезда я вернулся в Харьков, чтобы продолжать начатую мною здесь работу. Через несколько дней утром ко мне вдруг явились двое один, мне известный, довольно несимпатичный человек, любивший немного приврать и прихвастнуть, один из тех типов, которые присосались к партийному организму из личных интересов, довольно широко живший уже в то время на революционные средства; другой

— мне незнакомый, смуглый, с длинной шеей, моложавый на вид, в пенсне, довольно бойкий, живой и энергичный.

— Вы должны поехать в Е. — начал второй.

— Позвольте...

Но он не дал мне произнести хотя бы одно слово. Быстро набросал он положение дел в Екатеринославе, набросал картину плачевного положения организации, оставшейся после стачки без пропагандистов и агитаторов, организации сыгравшей известную роль в эти дни и вызвавшей интерес к себе со стороны рабочих. Живо он доказывал все значение моей поездки туда для дела русской революции, настаивал на необходимости поддержать организацию, имеющую будущее, доказывал, что, как партийный человек, я не имею права отказываться и т. д. Впервые мне пришлось столкнуться с революционером, не желавшим считаться ни с какими доводами, когда вопрос касался революционного дела. На мои замечания он отвечал целыми речами. По-видимому он решил меня взять приступом, решил не дать мне опомниться и вырвать обещание. На мой последний довод, что я никогда не стоял во главе целой организации, имеющей отделы в разных частях города и в его окрестностях, что я вряд ли буду способен удержать в целостности такую громоздкую организацию, он ответил.

—Вы должны ехать! Вы очень подходящий человек... И вид ваш превосходен! Вы едете, вы едете! Ура! Вы непременно поедете!

И он завертелся на одном месте, потом схватил и меня в свои объятия и закружил по комнате. Пришлось сдаться.

Вечером я пришел за инструкциями. В комнате сидело несколько человек. Один — мрачный на вид, довольно плотный мужчина — стоял, наклонившись над столом с чертежами.

А ведь верно, что у вас вид подходящий,—сказал он. Анти-шпиковский... Трудно подумать, что вы революционер.

Он имел в виду мою «солидную» наружность и новый костюм. Узнавши, что я вполне легален, этот серьезный и симпатичный человек так обрадовался, что чуть не задушил меня в своих объятиях. Он сам был нелегален, знал все трудности нелегального существования и все препятствия, которые ставятся революционной работе подобной жизнью.

Утром следующего дня я был в Е. и заехал к «сочувствующим». В то время таковых было немного. Каждый из них вначале считал своей обязанностью помогать революционерам, потом это вошло у них в моду, особенно у «дам», которые занимались этим не то как спортом, не то как благотворительностью. Если бы они не претендовали на большее, то их старания принесли бы только пользу. Но они этим не желали ограничиться, и хотели иметь влияние, входить в «комитет» или хотя бы в «финансовую комиссию» и, главным образом, пользоваться правом решающего голоса. Довольно часто благодаря этим, почти посторонним делу, элементам возникали споры и раздоры между верхами и низами организации.

«Сочувствующая», к которой я заявился, принадлежала именно к этому разряду людей. И так как я не скрывал своего взгляда относительно них, то скоро и был без слов изгнан из ее дома, как ранее Н.Коршун был просто выгнан «старым ворчуном» зато, что осмелился в конце 1903 г. сказать: «через полтора года у нас будет революция».

«Старый ворчун» смотрел на революцию, как на «маяк путеводный», лишь освещавший дорогу революционерам в их повседневной работе, но не как на близкую и возможную цель.

В конце 1904 года я очутился в северо-западном крае. Здесь русские рабочие, особенно железнодорожные, отличались косностью, малосознательностью, несмотря на воцарившуюся «весну», созданную министром внутренних дел Святополк-Мирским после убийства Плеве Сазоновым. Это тип рабочих оседлых, имеющих свои домики, садики, своих коров, свое «имущество». Это по участию в производстве пролетарии, по духу — мещане, с недоверием относившиеся к «демократам».

Организация социалистов-революционеров только складывалась под непрерывным огнем всех местных организаций — особенно Бунда и социал-демократов, — и равнодушия общества, которое почти не знало о существовании местной группы социалистов-революционеров, зародившейся среди еврейских ремесленных рабочих, которые в отношении восприимчивости к идеям социализма, в отношении сознательного отношения ко всему происходящему занимают одно из первых мест в среде российского пролетариата. Но в то же время здесь я подметил одну черту, которую я назвал бы заносчивостью и самомнением еврейского пролетариата. Она проявляется прежде всего в необычайных требованиях к революционной интеллигенции. Это не недоверие к «пришельцам», не дух махаевщины, не стремление самим вести

свои дела, а пренебрежительное отношение к тем, кто не обладает ораторскими способностями.

Для еврейской рабочей массы, по крайней мере этого года, более важна форма речи, чем ее содержание. И «ораторы» пользовались там большим влиянием. В других интеллигентных силах, говаривали они, «мы не нуждаемся»... Я считаю характерным один слышанный мною разговор. На рабочей бирже, одной из первых бирж этого периода, занимавшей целую улицу, на которой каждая партия имела свое особое место, где велись бесконечные дискуссии по всем вопросам теории, тактики, организации, споры на злобу дня, где устраивались массовки и общие митинги, где ораторы разных партий, со стола поставленного среди улицы, знакомили рабочих с общим положением дел 1905 года, — на этой бирже стояла группа рабочих. Один из них, заложив руки в карманы и расставив ноги, говорил:

—Э—э!.. Каляев!., (это было сейчас после убийства Сергея Алекс.) Бросил бомбу!.. Великое дело... Дайте мне бомбу и я тоже брошу...

—Ну, заметил другой, положим...

—Бросить то ты, быть может, и бросишь, но не в этом только дело. А потом? После?

—Э!.. Великое дело. Буду молчать.

Я поспешил удалиться. В другой раз во время митинга я услышал такой же разговор.

—Оратор! Великая штука рассказать, как было дело, и «дать агитацию». Дайте мне стол и вы увидите!..

Один товарищ социалист-революционер, приехавший прочитать реферат, пожелал посмотреть биржу, о которой

складывались целые легенды. Он походил по ней, поговорил с рабочими, прислушался к дебатам и сказал:

— Знаете, на чашке социальных весов ваши рабочие и, как мне кажется, все рабочие северо-западного края имеют малую цену. Думаю что поднятый шум об организованности, готовности к активной борьбе и восстанию еврейских рабочих есть в громадной степени революционная фразеология.

Бывая часто на бирже, я подметил еще одну черту — искусственную грубость по отношению к еврейской революционной интеллигенции. Показать свою сознательность, свое понимание себе цены, показать, что он «такой же человек», как и «интеллигент» — такова цель этой грубости.

Группа социалистов-революционеров с самого начала своего возникновения обратила внимание на железнодорожную рабочую массу, к которой евреям доступа не было. Долгая и упорная работа социалистов-революционеров и социал-демократов среди трудно поддававшихся пропаганде рабочих железнодорожных мастерских все же принесла плоды. Когда за день до 17 октября 1905 года пошел слух о погроме евреев, эти же рабочие, которые в 1903 году сами устроили погром, печатно заявили, что они не допустят его и, если таковой начнется, подавят его силой. Более того, железнодорожные рабочие организовали боевую дружину-самооборону под руководством социалистов-революционеров, которая дежурила на одной из еврейских квартир, ожидая погрома. Те, которые говорили, что били евреев за их революционность, ныне, во главе с членом СР комитета, дружно примкнули к октябрьской забастовке и так же дружно к декабрьской, захватив в свои руки управление станцией, сместив начальника ее и т. д. Потребовалось прибытие генерала Орлова с карательным отрядом и пулеметами,

потребовался еще один погром, чтобы восстановить «порядок».

В этом маленьком сравнительно городке собралось пять человек, умевших вести самостоятельную работу, энергичных, владевших отчасти пером и словом и более или менее организаторскими способностями. Не хватало всем работы. Тогда часть из них направилась в местечки и села, захватив с собой самых развитых рабочих для более успешной работы среди крестьянства. Организация ширилась, охватывала все новые пункты, требования прислать «демократа» или «жидка» учащались, рос спрос на литературу, прокламации, все чаще и чаще обыватели обращались за содействием, за разрешением споров, посылались даже «прошения» в комитет социалистов-революционеров, которые и попадали туда через десятки руки. Организация социалистов-революционеров имела типографию, которая помещалась в трех комнатах, была прекрасно оборудована и в которой работало четыре человека. Между ними был Пулихов, казненный за покушение на минского губернатора Курлова. Типография была устроена совместно с Мих. Ив. Соколовым («Медведем»), приехавшим в то время с целой группой аграрных террористов в Россию и организовавших Крестьянский Союз социалистов-революционеров. В этой типографии должна была печататься газета «Земля и Воля». Во время ареста типографии двое отсутствовали. Другие двое переносили готовые прокламации на конспиративную квартиру. Это было вечером. Идя из типографии, они встретили на этой же улице целую свору полицейских с жандармами.

— Не к нам ли, заметил, шутя, один?..

— Может и к нам, ответил другой.

Когда через час они возвращались, то совершенно забыли о встрече и прямо вошли во двор. Здесь их пытались задержать, но были встречены револьверным огнем. Стрелявший скрылся. Другой был арестован, избит ротмистром Шебеко и отправлен в тюрьму. Очень скоро была организована новая тайная типография исключительно на средства группы и работа вновь закипела. Единственным тормозом в это время были нечистые приемы социал-демократов, к которым они не стеснялись прибегать для борьбы с ростом эсеровского влияния. Но разоблачить их было не так уж трудно... Мирно шла культурно-социалистическая работа... Но дух активного протеста, разлившийся по всей России, проник и в этот город и скоро нашел себе выход: был прислан полицеймейстер специально для разгона биржи. В день приезда он явился окруженный казаками к углу ее и гаркнул: «разойдись, сволочи, стрелять буду». Силой отстоять биржу не было возможности и было решено прибегнуть к партизанской борьбе. Вечером биржа была разогнана, а в 11 ч. ночи, во время манифестации по этому поводу, была в него брошена бундовцами бомба. Она не взорвалась. На следующий день снова манифестации по всему городу. Полицеймейстер летал по всем улицам, гоняясь за рабочими. В воскресенье, через три дня после разгона, когда он выходил из канцелярии полицейского управления, в него была брошена вторая бомба, но и эта не взорвалась. Вспоминая эту историю, пред моим взором появляются образы двух рабочих социалистов-революционеров, рвавшихся покончить с полицеймейстером. Они приехали из Екатеринослава после покушения на провокатора Федора Голубничего, в течение свыше 2-х лет проваливавшего эсеровскую организацию. Они стреляли в него в его собственном дворе, но промахнулись.

Одного из них мы звали «Ваня маленький». Это был молодой рабочий, лет 19-ти, с свежим и румяным лицом, блестящими и энергичными глазами, сильной волей и пытливым умом. В первый раз он показал свое спокойствие и силу духа в минуты опасности в Екатеринославе. Он ночевал с тремя товарищами в доме на углу Керосинной улицы. Ночью явилась полиция, дом был окружен и им предложено было сдаться. Но они, отворив дверь, открыли стрельбу из револьверов, бросились через цепь городских, прорвали ее и скрылись. Ваня был даже не вооружен. Второй — рабочий, токарь по металлу, был известен под именем Дмитрия и представлял полную противоположность Ване. Высокий, плечистый, лицо грубое, нос вздернут, руки мозолистые, глаза равнодушно-спокойные. Помню наш разговор в один из тех дней, когда он следил за полицеймейстером. Он сказал: «Знаете, я сегодня много думал о тактике социалистов-революционеров и вообще революционеров. Не согласен я с ней. Прежде всего партия недооценивает силу террористических групп. Все говорят о массовом захвате, восстании. Я рабочий. Рабочего хорошо знаю. С малых лет я с ним живу. И массу знаю. Вы обманываетесь на ее счет. Она не такая, как бы сказать, грозная, как вы думаете, совсем не такая сознательная. Пятьдесят рабочих террористов больше сделают, чем рабочие целого города, и в смысле устройства стачки, и в смысле захвата завода, или полицейского управления. Кроме того, какое значение, кроме агитационного разумеется, за тактикой политических стачек, демонстраций? Мне кажется, что нужно было бы собрать всех боевиков и захватить все в городе в свои руки. Чтобы каждый знал, для чего он борется. А так ведь он не знает: политическая свобода — хорошая вещь,

но ее ведь в Петербурге должны дать, пусть бы террористы Петербурга и захватили власть и дали бы свободу».

Когда они заявили о своем желании, была приготовлена бомба, с которой они и следили за полицеймейстером. Но последний, сделав свое дело, был переведен обратно на старый пост исправника. И они, оставшись «за флагом», ходили на новую биржу и тяготились своим положением. Дмитрий даже поступил было слесарем в мастерскую в местечке, но скоро вернулся: его тянула к себе боевая работа. Почти ежедневно они говорили со мной на эту тему, просили передать в центральный комитет выражение недовольства боевой организацией, которая допускает их «киснуть» где-то в провинциальном городишке, где некуда приложить свои силы в то время, когда они «способны на террор». Скоро удалось все же «доставить до сведения» Боевой Организации об этих двух юных борцах и к нам явился боевик повидать их; поговорив с ними, он попросил ждать и уехал. Ваня скоро после этого приступил к самостоятельной независимо от группы, боевой работе, а Дмитрий решил ждать более крупного дела, тем более, что он уже не скучал — учился готовить бомбы...

Произошло это следующим образом. В своем стремлении быть независимым даже в постановке боевого дела, местная группа решила изучить приготовление бомб и всех ее составных частей. Когда об этом было передано в Москву, оттуда через несколько дней приехала Зинаида Коноплянникова, которая познакомила нас вкратце с конструкцией бомб и просила отправить кого-либо к ней в лабораторию для практического изучения этого дела. Через некоторое время, после возвращения из Москвы посланного туда товарища, мы самостоятельно готовили уже гремучую ртуть и трубки с

серной кислотой с перехватом для грузила. Первые наши опыты кончились взрывом гремучей ртути, который не причинил никому вреда. Пришлось лишь перебираться на новое место, где дальнейшие опыты удались блестяще. Необходимо было запастись динамитом. За это дело и взялся Дмитрий, который с самого начала принял горячее участие во всем этом и вызвался отправиться в Екатеринослав, где у него были связи с шахтерами. У них он надеялся получить около пуда. Незадолго пред октябрьскими днями он уехал, но не успел возвратиться, ибо начавшееся там движение втянуло его в свой водоворот.

Ваня пошел другой дорогой. Он примкнул к образовавшейся здесь в августе 1905 года террористически-экспроприаторской группе исключительно из русских рабочих г. Екатеринослава. Еще в то время, когда местная группа партии социалистов-революционеров мало задумывалась над постановкой боевого дела, один из ее бывших членов самостоятельно устроил маленькую лабораторию, где он оперировал порохом и пикрином. В этой лаборатории, скоро взорвавшейся без жертв, и приготовлена была та бомба, с которой Ваня и Дмитрий следили за полицеймейстером. Имея связи со всеми районными группами, он скоро организовал летучий отряд, который, войдя в сношение с местной группой, организовал покушение на ротмистра Шебеко. Бомба в него брошенная не взорвалась, а лишь зашипела. Это и послужило толчком к тому, что террористическая вначале дружина сделалась экспроприаторской — стремление организовать хорошую лабораторию и ряд покушений требовало средств. На этой почве среди членов этой группы происходили споры: одни, как Ваня, признавали всякие экспроприации принципиально, как средство классов-

вой борьбы; другие — лишь как средство добывать необходимые суммы, требуемые делом. На этой точке зрения стоял рабочий Сергей Бочарников — хороший агитатор, мягкий в обращении с товарищами, решительный в схватке с врагом, с вдумчивыми глазами и симпатичным лицом, в высшей степени конспиративный. Добыв около 2 тыс. рублей, они построили вторую лабораторию, в которой работал главным образом Бочарников. В ней же он был взорван вместе с другим рабочим, евреем, убившим помощника пристава Славасевича. Третий был лишь оглушен и обожжен. Взрыв произошел во время обыска недалеко от лаборатории. Сергей спешил закончить бомбу, чтобы с ней напасть на весь полицейский отряд, когда тот выйдет с обыска. Нужно было лишь приладить крышку, которая с трудом надевалась, и перевязать проволокой. Он тихонько ударил по ней и... произошел взрыв; весь живот был вырван у него. Его последними словами были — «похороните меня как революционера». У другого оторваны были ноги. Он держал готовую бомбу в кармане, которая взорвалась вслед за первой.

Сергей Бочарников и Ваня приняли участие в покушении на исправника Еленского. Выстрелами этих террористов, засевших во рву глубокой ночью, когда исправник проезжал по мостику к себе домой из клуба, он был тяжело ранен. Эта же дружина убила в м. Ветке «грозу» революционеров — урядника; ими же произведено покушение на провокатора, ими же была брошена бомба в квартиру зубного врача, не желавшего дать денег по их требованию. Это было в тот момент, когда на этой квартире заседал комитет Бунда. Бомба, влетев в окно, зацепилась за шторы, скатилась на колени бундовца, который ее и задержал. Против этой группы социалистов-революци-

онеров (непартийных) был поднят поход бундовцами, выпустившими прокламацию против «вымогателей» и «грабителей», «позоривших» честное имя революционера, грозившую разоблачениями.

Подоспели октябрьские дни. Террористически-экспроприаторская дружина совместно с отдельными членами местной партийной группы социалистов-революционеров проявляли чудеса храбрости. Стоя у ворот одного дома, они стреляли в казацкие патрули и ранили несколько человек и лошадей. Во время демонстрации, устроенной эсерами с целью заманить казаков в засаду, были брошены ими две бомбы: одна попала в густую грязь, другая же на мостовую и взорвалась с страшной силой, ранив лошадь. Разъяренные казаки ринулись на демонстрантов, но последние, осыпая их градом пуль, рассыпались во рву, где преследование было невозможно.

Вечером следующего дня бундовцы бросили бомбу в полицеймейстера, которая взорвала лошадь, но не причинила вреда людям. Я сидел в это время недалеко от места взрыва. Вдруг задребезжали окна и зашатался пол. Казалось, что рушится дом. Все бросились к окнам с криком: «что? что такое? что случилось?» Зная, что в этот момент экспроприаторская дружина тоже должна была встретить полицеймейстера, я предупредил испугавшихся и не советовал подходить к окнам. Через минуту начался форменный обстрел всей улицы пачками. Пули летели во все стороны. Были убиты несколько человек на улице, дворник, показавшийся в калитке, девушка. Все огни сразу везде погасли. На всем протяжении улицы стояли казаки около лошадей, как будто на часах, охраняя лагерь от врагов, и осматривали дома, не покажется ли кто в окнах. Было жутко в этой тишине, сквозь которую часто доносились злове-

щие выстрелы. Лишь утром я увидел место покушения, залитое кровью. По улицам ходили патрульные и разгоняли толпу.

Кажется, через день получился в нашем городе манифест. И здесь, как везде, сразу начались митинги.

Вечером была устроена грандиозная манифестация. На следующий день митинг в сквере под председательством члена СР комитета. Местная буржуазия закупила все имевшееся в городе оружие и раздала социалистическим организациям, образовав союзы самообороны, причем силы бундовской и эсеровской организаций были оценены ею одинаково. Выбран был Коалиционный Совет всех революционных организаций. В это время я переехал в другой город — Минск.

Это было уже в середине ноября, когда начался съезд организаций социалистов-революционеров этой области. Я оста-навливаюсь на этом съезде лишь для того, чтобы отметить один его момент. Перед закрытием съезда было передано приезжим из Петербурга эсером о прекращении Центральным Комитетом партии террора. Произошло нечто неопишное. Все заговорили разом, стараясь перекричать друг друга. Председатель, бессильный установить тишину, сложил свои полномочия, но никто не обратил на это никакого внимания. В разных местах раздавались нелестные о ЦК отзывы. Но, наконец, первый прилив негодования прошел, установился порядок и слово взяла доселе совершенно спокойная и все время молчавшая Екатерина Измайлович. Речь ее плавная, красивая и энергичная была беспощадным обвинением, брошенным перед лицом свыше 20-ти представителей громадной области,

ЦК в оппортунизме. При громких криках одобрения она закончила:

—В то время, когда необходимо напрячь все боевые силы для нанесения как можно большего числа ударов, чтобы расшатать еще больше уже расшатанную государственную машину, когда нужно показать, что террористы готовы продолжать и продолжают свое дело, Центральный Комитет складывает самое страшное для правительства оружие. Это измена народному делу.... Мы не должны подчиниться такому постановлению!. Необходимо немедленно известить ЦК, что съезд нашей области не бросит этого оружия, несмотря ни на какие запрещения. Предлагаю послать от имени съезда делегата в Петербург для получения точных сведений относительно этого странного и непонятного для нас явления.

Ее доселе равнодушное лицо дышало энергией, глаза горели, она вся была воплощением гнева. Все присоединились к ее требованию — не прекращать террора. И действительно, минский Комитет партии не бросил террористической борьбы и продолжал готовить, состоявшиеся впоследствии, два покушения, связанные с именами Ал. Измайлович и Ив. Пулихова.

Екатерина Измайлович — дочь генерала. В первый раз я ее увидел на съезде работников северо-западной области в середине 1905 года в Смоленске. Она задумчиво сидела под дубом и не вмешивалась в разговор. Высокая, тонкая, с большими черными глазами, овальным и бледным лицом она производила впечатление человека дела. Лишь впоследствии, когда я познакомился с ней поближе, я узнал всю красоту ее души, всю преданность ее революции, при воспоминании о которой ее речь становилась живой и остроумной. Лишь впоследствии я

узнал, что она во всякое время готова была жизнь свою отдать за жизнь тиранов.

Она ушла из родительского дома, из той среды, где росла и воспитывалась, и примкнула к тем, кто ведет неустанную борьбу против гнета и произвола. В Петербурге она получила свое революционное крещение, была там два раза арестована и выслана в Минск. Здесь она жила в то время, когда отец ее командовал на войне целой дивизией. В роскошных комнатах отца она устраивала рабочие собрания, на которых лились ее страстные речи о борьбе, о революции, об эксплуатации и социализме. Она приобрела доверие и уважение рабочих. ее искренность побеждала всех, кто с ней сталкивался. Во время расстрела Курловым митинга около железнодорожного вокзала Катя подбирала раненых. Это на нее так подействовало, что она потом говорила: «мне стыдно смотреть в глаза евреям». Она еще более побледнела, лицо ее сделалось еще строже.

Со дня приезда моего в Минск вплоть до ареста я часто бывал у сестер Измайлович, где в это время была эсеровская «штаб-квартира». Целый день в ней толпились «товарищи», здесь обсуждались планы покушений на полицеймейстера Норова и губернатора Курлова, здесь стояли громадные корзины с литературой, здесь же приготавливались бомбы для предстоящих покушений.

Когда разразилась декабрьская забастовка, Катя вся ушла в работу — бегала в типографию, приносила прокламации, переносила бомбы, приготовленные в Г — кой лаборатории для взрыва поста на углу Губернаторской и Заваринской улиц, исполняла роль патрульного в день предполагавшегося покушения на Норова — 1-го декабря. В ночь на 15-е она была арестована. В тюрьме все время была в боевом настроении. С

ненавистью говорила о тюремщиках. Как-то начальник тюрьмы сделал ей замечание за ее игнорирование тюремных правил. Посмотрев на него через плечо, она ответила: «за грубость, для первого раза дарю вас своим презрением».

Скоро женщин перевели в другую тюрьму, откуда она и была освобождена Борисом Мищенко-Вноровским, тем самым, который бросил бомбу в Дубасова накануне созыва первой Государственной Думы. Десять дней просидела она в совершенно холодной квартире, ожидая момента, когда возможно будет выехать из города. На санях повезли ее студент и элегантно-одетый офицер к одной из железнодорожных станций близь Минска. Трудно было узнать Катю. Лишь выдавали ее все те же сверкающие глаза. Сейчас после бегства она отправилась в Севастополь и стреляла в Чухнина — начальника флота Черноморской эскадры. Раненный четырьмя пулями, он приказал расстрелять ее без суда на черном дворе; ее изуродованный труп покрыли рогожей. «Стреляйте, я свое дело сделала» — это были последние слова незабвенной Екатерины Измайлович.

Сестра ее Александра, стрелявшая в Курлова после неудачного покушения на него Ив. Пулихова, не была похожа на Катю. Она казалась более серьезной и спокойной. Не принимала участия в местной работе, хотя ко всему присматривалась, всем интересовалась. В «дни свободы» она ходила ежедневно учиться стрелять и как будто чего-то ждала. 1-го января 1906 г. во время похорон одного генерала Пулихов бросил бомбу в губернатора, но она не взорвалась. Видя неудачу, она выхватила револьвер и начала стрелять. Ее повалили, избили, отправили в участок, где тушили о ее тело папиросы, пытали так, что лопнула барабанная перепонка правого уха. Когда я ее увидел

в тюрьме, лицо было черно, глаза не видно было — вместо него синее пятно. На суде держалась героически. Ив. Пулихов после суда написал нам письмо с изложением обстановки суда и поведения Сани: «На суде Саня держала себя героически. Меня заражало ее светлое, радостное настроение. В ее присутствии я нашел такую энергию, что моя речь была сказана звонким голосом, плавно и громко, чего никогда не удавалось достигнуть на наших массовках. Да, с таким товарищем, как Саня, я с восторгом пошел бы на костер, отдал бы две жизни, если бы мог!

Слава нашим женщинам!».

Декабрьская забастовка... Мертвая тишина. Весь город погружен во мрак. Ни живой души на улицах... Лишь полицейские посты заняты какими-то закутанными фигурами, озирающимися по сторонам, как бы боясь внезапного нападения. Но во мраке жуткой ночи не слышно ничьих шагов, как будто город весь вымер или погрузился в волшебный сон. Как и по всей России здесь шла борьба между двумя силами — силами царского правительства и силами народа. Все обывательские элементы спрятались в свои конуры, высматривая оттуда на исход поединка.

Лишь царские слуги и защитники народа не были спокойны в эти грозные ночи, лишь они по временам показывались на улицах, как будто осматривая неприятельский, лагерь, и скрывались во мгле декабрьской ночи.

В центре города в ярко освещенном зале собрались представители всех революционных организаций города. Коммен-

тируются вести из Москвы, восставшей на баррикадах за свободу и права человека, обсуждаются вопросы об отношении к горожанам-купцам, заводчикам, не пожелавшим подчиниться решению забастовочного комитета в смысле приостановки всех работ. Обсуждаются и отвергаются по настоянию железнодорожников предложение минских социалистов-революционеров о взрыве мостов и предложение бобруйских солдат, переданное через бобруйский СР комитет, о сдаче революционерам Бобруйской крепости.

Густые облака дыма окутывают сидящих. Дверь то открывается, то закрывается. Все новые и новые известия приносит телеграф.

Телеграмма! раздается в дверях...

В наступившем вслед за этим тишине ясно и отчетливо слышно: «Сегодня в четыре часа ночи через ваш город проходит поезд с солдатами, направляющимися на усмирение Москвы».

Все замолкли... Почти у всех блеснула одна и та же мысль: задержать, задержать во что бы то ни стало... Быть может от этого зависит исход борьбы в Москве... Задержать... Но как?

Долго дебатировался этот вопрос, пока одержало победу предложение устроить крушение поезда. Погибнут люди, те же рабочие в солдатских мундирах, невинные, под страхом смерти, быть может, идущие против своих братьев, но... прежде всего революция, а потом уже человеческая жизнь. В раскаленной атмосфере декабрьских дней, атмосфере борьбы казалось, что от успеха этого дела зависит судьба России.

Предложение было принято, около десяти добровольцев выразили согласие на участие в этом предприятии и в час ночи

эта группа двинулась в путь на полотно железной дороги в пяти верстах от города.

Быстро один за другим, крадучись, прошли мы город, какой-то сад, перебрались через плетень и очутились в поле. Была метель... Дорогу занесло. По колени в снегу спешили мы к месту. Измученные, усталые добрались мы, наконец, к указанному пункту, сбились все в кучу под прикрытием целой груды досок, лежавших невдалеке от полотна, и выработали план нападения на сторожевую будку, которой необходимо было завладеть, чтобы взять для развинчивания гаек инструменты. Несколько человек потихоньку подошли к будке и несколько раз стукнули в дверь.

Ни звука...

Стукнули настойчивее... Мертвая тишина... Снова все сбились в кучу и решили попытаться выломать дверь. Но вдруг с грохотом и свистом пронесся поезд — мы опоздали...

Наша миссия не была исполнена. Хотя это казалось нам огромной неудачей, но все же мы облегченно вздохнули, что смерть миновала тех, кто сам спешил сеять смерть в пролетарских рядах.

В средних числах марта 1906 года, через несколько дней по освобождении из тюрьмы, я случайно встретил издателя одной газеты, который предложил мне занять место фактического редактора. Я согласился и скоро выпустил первый номер. Но эсеровское направление газеты не «понравилось» губернатору и она была немедленно закрыта. Пришлось уезжать «отдыхать на Волгу».

Отдых продолжался недолго — всего две недели. Но и этот срок был достаточен, чтобы выяснить себе те вопросы, кото-

рые роились в голове и готовый ответ на которые я не мог найти в литературе. Это были вопросы максимализма. Впервые заставили задуматься меня и сильно восстать против максималистских идей прокламация Союза социалистов-революционеров, организованного «Медведем» (М.Соколовым). Наряду с требованиями социализации земли прокламация выставила требование социализации фабрик и заводов. С этой программой выступил один рабочий на собрании, устроенном Г-ой группой социалистов-революционеров, исключительно в целях выяснения этого пункта максимализма. В конце 1905 года мне попался номер «Вольного дискуссионного листка», который трактовал этот вопрос в статье о программе минимум. На съезде организаций северо-западной области этот вопрос вызвал массу споров. Но уже в это время мне казалось, что вопрос поставлен не на правильную позицию, что разбирать его надо не с этой точки зрения. Все социалисты-революционеры, нападавшие на максимализм и все максималисты, его защищавшие, доказывали — одни невозможность, другие его возможность. Но тогда это вопрос практического осуществления социализма, решить который довольно трудно было на основании имевшихся в то время данных. Оправдание максимализма с точки зрения возможности его существует лишь в том случае, если социальная революция уже сейчас может быть совершена. В противном случае не могло бы быть этого социально-революционного течения. Но, думал я, максимализм должен существовать независимо от того, имеются ли объективные и субъективные предпосылки социального переворота. И он существовал, ведь, уже! По крайней мере в вопросе построения социалистической программы на максималистской точке зрения стояли революционные народники

70-х годов, народовольцы, часть социалистов-революционеров начала девятисотых годов и «аграрные террористы». А это — точка зрения должного, а не возможного, отрицающего при всех обстоятельствах программу-минимум. С этой точки зрения вопрос о возможности социализации фабрик и заводов занимает хотя второе место, но более выгодное, ибо фактом непрерывного распространения того, что должно быть, придвигается и возможность его реализации.

Второй шаг в сторону максимализма я вынужден был сделать, разбирая беспристрастно аграрную программу партии социалистов-революционеров. Если возможна социализация земли, если недра земли будут изъяты из сферы товарного обращения, то как возможно капиталистическое индустриальное хозяйство? Третий шаг я сделал исходя из факта неудавшегося декабрьского восстания, что в большей степени зависело от централистического его метода и от точки зрения минималистских партий на ближайшую цель революции, осуществить которую только, якобы, и нужно было — я пришел к методу коммунальной революции. Таковы были мои расхождения с партией, когда я приехал в Петербург с целью выяснить возможность моей дальнейшей работы среди социалистов-революционеров. Это было во время первой Думы. Здесь я сделал четвертый шаг в сторону от партии, узнав о прекращении террора в самый удобный и нужный момент. Здесь же я в личном опыте убедился, как подавляется стремление партийных «еретиков» высказать свободно свои мысли, как верхи дипломатично обходят желание «низов» оказать влияние на выработку партийной программы. Статью, в которой я делал попытку доказать, что русская революция или закончится полным социальным переворотом и в городе, и в деревне, или

будет окончательно раздавлена, не пропустили. Предлагали поместить лишь ту часть ее, которая трактовала о политическом перевороте. Пока велись эти споры, газета была закрыта. Так, не солоно хлебавши, уехал я в Москву.

Здесь начались новые мытарства. Прежде всего я предложил свои услуги Областному Комитету Центрального района, который в то время нуждался в работниках. Не считая допустимым скрывать свои еретические взгляды, я как-то поведал их Областникам, между прочим и бывшему товарищу-доктору Бельскому. И странное дело — отношения вдруг сделались совершенно непозволительными. Приняли было сердечно, предлагали поехать по области, читать рефераты, давали явки, деньги и все прочее, а тут, когда увидели во мне неправового, перестали являться на конспиративные квартиры, избегали встречи со мной, а когда им этого не удавалось, они отделялись обещаниями и ничего не значащими фразами. Наконец я раскусил эту некрасивую дипломатию «товарищей» и... вновь уехал отдыхать.

Но я не думал складывать оружия. С одной стороны, меня тянуло к рабочим, к активной борьбе. С другой — я считал себя настоящим социалистом-революционером, а их еретиками, правда правыми. В 1905 году, максималистскими сделались те воззрения, которые в 1903 году были социально-революционными. Я вспомнил дебаты с социал-демократами по вопросу о социализации земли. Один из главных их аргументов заключался в том, что бедняк-мужик, получив землю, не будет в состоянии ее обрабатывать, не будет иметь орудий труда. И мы, социалисты-революционеры, всегда отвечали: «Мы мыслим социализацию земли через народное восстание. Странное было бы восстание, если бы крестьянство, захватив землю, не

захватило инвентаря землевладельцев. Не только земля, но и все машины, лошади, коровы и все прочее, все «культурные» помещичьи гнезда, все их дома и парки перейдут в руки народа. И поэтому, ваши нападки на социализацию земли не выдерживают критики. Сейчас же после захвата земли обработка ее будет вестись «панским» инвентарем, на «господские средства».

Таков был ответ в 1903 г. А в 1906 г. эти же воззрения фигурировали как максималистские и мне приходилось защищаться уже от социалистов-революционеров. Но все же я сделал еще одну попытку приступить к активной работе и с этой целью обратился к одному из членов московского комитета, который направил меня к представителю бутырского района. Здесь меня прежде всего спросили:

Что вы можете делать?

Все...

— Все?

— Все, кроме боевого дела

А рефераты можете читать?

— И рефераты, и лекции, на массовках и митингах говорить могу, кружки веду и организовываю, прокламации и статьи пишу, набирать могу, гремучую ртуть добываю, трубки делаю, на гектографе работаю, газету издавал и издавать могу, легальную и нелегальную, и все остальное могу, для революционной работы необходимое...

—В таком случае для вас есть работа в кружке рабочих, оставшихся без пропагандиста.

—Хорошо, дайте адрес.

К назначенному дню я явился. Собралось человек шесть. К следующему разу никто не пришел, а мне приходилось приезжать в город, потом пешком двигаться несколько верст, пока добирался до квартиры. Все же я явился и в третий раз, но застал лишь трех рабочих. Пришлось отказаться от такой работы. Как раз в это время из другого района мне было предложено прочитать реферат в защиту «права на землю». Я отправился по данному адресу, но такового не оказалось. «Отдохнув» еще некоторое время, я раздобыл связи с железнодорожным союзом и добрался до группы рабочих, довольно солидных и развитых социалистов-революционеров. Но в это время возгорелся уже тот конфликт между комитетом и советом районных представителей, не признававших Комитет, который привел к созыву конференции в сентябре 1906 г. для урегулирования всех тех неурядиц, которые все время тормозили работу. Занятия с кружком приостановились. В это время я собрал все свои статьи, признанные эсеровскими литераторами «еретическими» и отправил их в Петербург в издательство максималистов. Через несколько дней я телеграммой был вызван туда.

Глава IV

В Петербурге я встретился с максималистом, который предложил мне поехать на первую конференцию социалистов-революционеров-максималистов (СРМ). На мое указание, что я не считаю себя «правоверным», я получил ответ, что там будут и правоверные и неправоверные. Там будут, говорил он, и представители уже существующих организаций и максималисты — одиночки, готовые примкнуть к организации, и даже только выясняющие себе вопросы этого течения.

— Присутствие на конференции обязывает только к молчанию. Я считаю возможным пригласить вас, потому что вас многие знают. Во-вторых, ваши взгляды близки к нашим. На конференции будут выясняться вопросы, которые, быть может, для вас неясны. Если вы не согласитесь с постановлением ее, то вас доставят туда, откуда вы приехали и... только.

Согласившись с этими доводами, я в ту же ночь выехал по данному мне адресу. С большими трудностями добрался я до указанного места, находившегося вдали от «нескромных» взоров царского правительства. Здесь в течение девяти дней разрабатывались вопросы программного, тактического и организационного характера лучшими силами максимализма, среди которых необходимо назвать Михаила Ивановича Соколова, известного в революционной среде под кличкой «Медведь». Он стоял во главе той организации, которая заставила трепетать всемогущего Столыпина, которая сыграла видную роль в истории революционного движения в России, в истории развития максималистских идей, которая сделала слово «максималист» синонимом смелости, отваги, презрения к смерти и непримиримости по отношению ко всем врагам трудового

народа, — он стоял во главе боевой организации эсеров-максималистов. Имя «Медведя» настолько тесно сплелось с историей максималистического движения, что, говоря о нем, нельзя не дать хотя бы краткой биографии этого поистине замечательного человека.

Еще и теперь я ясно помню его появление. Высокий, стройный вошел он и сел как раз насупротив меня. Я внимательно вслушивался в его ответы на обращенные к нему вопросы, наблюдал за выражением его лица, глаз, за звуком голоса, очень приятным, за частым нервным подергиванием лица, по которому всегда можно было узнать «Медведя».

Он заговорил... Какой-то мощной силой и энергией веяло от всей величавой фигуры и от звука его голоса. Речь лилась плавно, приковывая к себе внимание присутствовавших, действуя на слушателей не только логичностью и силой аргументов, но и красотой формы, в которую эти аргументы были облечены. Небольшие глаза его так и метали искры, проникая в душу слушателя и покоряя его.

Он был сыном крестьянина. Еще будучи учеником, он начал свою социалистическую работу среди крестьянства, которая была прервана арестом. Скоро ему удалось бежать из тюремной больницы и уехать за границу.

Это было после убийства Плеве Сазоновым, когда чуялось приближение великих революционных событий. Близко зная крестьянство и его жизнь, считая, что русская революция может быть успешной, если в ней примет участие деревня, считая, что и экономическое положение, и правосознание крестьянства толкает его на активную роль в революции, — он

поставил своей задачей направить лучшие революционные силы в деревню.

Будучи в это время по взглядам своим аграрным террористом, он организовал в Женеве группу, с которой и двинулся в Россию, — группу, явившуюся провозвестницей более широкого революционно-социалистического течения — максимализма.

Где бы ни появлялся он, — все революционное, боевое, все не зараженное оппортунизмом приставало к нему. Он увлекал всех своей энергией, беспредельной верой в дело, своей способностью пробуждать спящих к самой трудной революционной работе.

Как сказочный богатырь носился он по градам и весям, сея семена аграрно-террористического учения.

Эта кипучая деятельность была прервана арестом, продолжавшимся не очень долго — наступили октябрьские дни, а с ними и амнистия. В конце ноября и он был освобожден.

Вышедши из тюрьмы, он немедленно кинулся в битву и 4-го декабря попал в Москву. Во время восстания на Пресне он играл видную роль. Его богатырская фигура везде мелькала: на митингах, на собраниях, на баррикадах... Рабочие готовы были идти за ним в огонь и в воду. Он организовал партизанские отряды и перешел совместно с другими к партизанской борьбе. Когда Пресня была окружена семеновцами с Мином во главе, «Медведь» с отрядом дружинников прорвался через солдатскую цепь...

Русская революция показала, что вопрос о социальной революции в России не вопрос далекого будущего, что при благоприятных обстоятельствах трудовой народ может взять в

свои руки и политическую, и экономическую жизнь страны. «Медведь» был в числе тех немногих, которые решили сторонников этого взгляда сплотить в одну организацию. Но после декабрьского восстания и его поражения, после расстрелов, виселиц и карательных экспедиций, после неслыханного глумления царя и его опричников над русским народом, «Медведя» не удовлетворяла эта организаторская работа; он предоставил ее другим товарищам, а сам кинулся в другую борьбу, борьбу живую и опасную, где враги сходятся лицом к лицу — в борьбу террористическую.

Он был главным создателем боевой организации максималистов, выдвинувшей много светлых сил, много честных и смелых борцов: геройски погибших при взрыве на Аптекарском острове, повешенных за экспроприацию у Фонарного переулка, Татьяну Леонтьеву, убившую Мюллера вместо Дурново, Тамару Принц, застрелившуюся в Одессе, Климову, Терентьеву, Владимира Мазурина, главного организатора экспроприации 800 тысяч рублей в Московском Банке Взаимного Кредита, «маленького Ваню», «товарища Сергея» и многих других, честно стоявших на своем посту.

Всматриваясь в этого опасного врага царизма, я вспоминал рассказы членов «Медведевской» Боевой Организации о покушении на министра Столыпина на Аптекарском острове. Это было сейчас после свирепого подавления Кронштадтского и Свеаборгского восстаний, после расстрела матросов, составших на защиту прав народных.

Беспощадно подавил Столыпин этот «бунт». Сотни повешенных, расстрелянных, замученных в крепостях и тюрьмах, отправленных в каторгу и ссылку.

Часа в 3 дня 12 августа 1906 к подъезду министерской дачи подъехало широкое ландо, запряженное парой красивых лошадей. Из него ловко выскочил молодой жандармский офицер и вошел в переднюю, где его встретили чины столыпинской охраны. По газетным сведениям, прибывший опоздал к приему и его попросили явиться на следующий день. Произошли пререкания между чиновником Столыпина и «жандармским офицером», после которых последний бросил снаряд, дотла разрушивший дачу Столыпина. Думал ли он, что вторично не удастся уж пробраться к министру, ибо приходилось оставить свой адрес, который мог быть легко проверен и нелегальность которого могла быть легко установлена, или он надеялся на силу снаряда, от которого Столыпину не укрыться, в каком бы месте дачи он ни находился? Трудно ответить на вопрос. Но зная личность покушавшегося, я буду близок к истине, если скажу, что скорее всего он был заподозрен на месте, вследствие чего и произошли пререкания. Зоркий глаз и «тонкий» слух охранников сразу, я думаю, отметили несоответствие внешних приемов наружности пришедшего и разыгрываемой им роли. У «жандармского офицера» не было жандармской «ловкости», наглости во всей фигуре и в выражении лица, специфических оборотов речи, так прекрасно известных всякому охраннику. Переодетый рабочий мог навлечь на себя подозрение употреблением в разговоре специфически рабочего слова или термина. И я думаю, что «маленький Ваня» (это был он) этим себя выдал.

Понял это, по-видимому, юный герой и, не желая сдаваться, разрушил жилище палача-министра. Два его товарища не успели даже отъехать и тут же были убиты. Ибо вся сила взры-

ва направилась по линии наименьшего сопротивления в открытую дверь, около которой еще стояло ландо.

Погибли три героя... Но вместе с ними погибла и вся охрана министра, около 100 человек.

В поднявшемся над разрушенной дачей столбе пыли виднелась одна фигура — фигура министра, бегавшего по развалинам дома и ищущего своих детей.

Страшные он переживал минуты... Но сколько отцов и матерей переживают еще страшнейшие по его вине!.. Думал ли он когда-либо об этом, а если думал, то знает ли, что «по делам его воздастся ему». Пусть Столыпин остался в живых... Пусть... Но эта схватка максималистов с главой правительства долго будет служить примером героической отваги и презрения к смерти, красной нитью прошедшей через всю максималистическую практику, примером для тех, кто явится на смену погибшим.

Всегда, когда я задумываюсь над моментом 12-го августа, точно живые выплывают предо мною образы двух участников этого дела.

Первый — «маленький Ваня». Потеряв его из виду перед октябрьскими днями 1905 года, я узнал потом, что в эти дни он был ранен в Брянске во время демонстрации в руку, которая почти не действовала до самой смерти.

В то время, как он выздоравливал, «Медведь» носился из города в город, организовывая силы максимализма. И, естественно, Ваня последовал за ним... Еще тогда, когда он выступил террористом-экспроприатором, он признавал много максималистических положений и был недоволен тактикой социалистов-революционеров. Еще тогда он рвался на терро-

ристическое дело и говорил: «эх, кабы на министра послала партия!»

Счастье ему улыбнулось: он встретился с человеком, который его оценил, который понял его душу, полную ненависти к дому Романовых и всему буржуазному строю, и помог ему осуществить давно лелеянную надежду — принести хоть ценой жизни чуточку пользы тому народу, сыном которого он был, который вспоил и вскормил его и передал ему с молоком матери вековую ненависть свою к насильникам и палачам.

Другой — сын гонимого и всеми презираемого народа... Еврей... Рабочий... Однажды он выступил на собрании социалистов - революционеров с критикой эсеровской рабочей программы и с проповедью социализации фабрик и заводов. Он говорил отрывисто, нескладно, но в каждом его слове чувствовалась глубокая вера в возможность и близость социальной революции... Против него выступили все социалисты — революционеры. Он был «побежден» и ему пришлось уехать...

Все это я вспоминал, вслушиваясь в речи «Медведя» о силе народа, мощи личности, неиссякаемости ее творческих сил, знания и воли.

И когда он заговорил о тактике, об истинно революционной тактике максимализма, я перенесся мыслью в Петербург к Фонарному переулку в день 14-го октября, когда человек двенадцать, вооруженных бомбами и револьверами, напали на карету казенной таможни, в которой перевозилась крупная сумма денег — около 400 тысяч рублей. Карету конвоировал десяток драгун с ружьями «на изготовку». Все же деньги были взяты среди белого дня.

Было узнано, что в этот день большая сумма казенных денег будет перевезена в казначейство.

Проследили путь кареты... И тогда был принят следующий план: с мостика, который перекинут через Екатерининский канал, как раз против переулка, будет брошена под лошадей бомба, чтобы остановить карету. Отряд с бомбами и револьверами, врезавшись между каретой и драгунами, непрерывным огнем парализует их деятельность. Другая часть в это время нападает на карету и конфискует деньги, которые будут увезены на одном из двух приготовленных извозчиков.

В назначенный день все произошло почти так, как было намечено. Один из организаторов этого сказочного дела — Л. явился на место раньше часом. Чтобы не торчать на виду у всех, он зашел в ближайший ресторан, кажется Кюба, и сел закусывать, положив около себя снаряд. Гарсон хотел его переложить на другое место, но Л. быстро схватил его и, сказав «не трогать» переложил на окно. Заметив из окна ресторана, что участники «дела» уже на месте, он, не окончив еды, расплатился и отправился на свою позицию.

Издали показалась карета. Когда она поравнялась с мостиком, под лошадой полетела бомба.

Тяжелый миг, тяжелое ожидание!.. Неужели не взорвется? Неужели все погибло? Неужели неудача? мозг Л. горел, глаза впились в видневшийся сверток, в дула направленных на него ружей. Ему казалось, что сейчас он будет убит. Но это продолжалось лишь мгновение. Воздух дрогнул, что-то ухнуло, поднялся огненный столб и началась усиленная стрельба: то первый отряд начал нападение на драгун, не могших справиться с испугавшимися лошадьми. А гул выстрелов, топот

лошадей и крики испугавшейся и бегущей толпы покрывал могучий голос главного организатора т. Сергея, который давал приказания, делал распоряжения то одним, то другим, не обращая внимания на творившийся кругом ад кромешный.

Спокойно сошел Л. с мостика и кинулся к карете. Заглянул внутрь — никого: кассир и его помощник исчезли. Он быстро вынул из глубины кареты кожаные сумки с деньгами. Под аккомпанемент выстрелов из драгунских ружей и максималистских браунингов деньги были вложены в подъехавшую пролетку, которая умчалась, защищаемая нападавшими, отрезавшими ее от преследователей.

— «Ну и жаркая была схватка, рассказывал мне Л. Когда я вынул сумки из кареты, я оглянулся, ища извозчика. Но его и след простыл: не то лошадь испугалась грохота и шума взрыва и понесла, не то извозчик сам испугался и оставил нас погибать. Но в запасе была другая лошадь — на нее то все и взвалили. Один мешок был слишком тяжел. Подозревая, что в нем находятся медные деньги, я схватил его и изо всей силы бросил о мостовую. Он уцелел; и вторая попытка разорвать его таким путем не удалась. А участники нападения, видя, что лошадь умчала «даму под вуалью», увезшую деньги, начали отступать. Нужно было и о себе подумать. Я оглянулся. Отряд отступал в полном порядке, осыпая градом пуль теснивших его драгун, подоспевшую полицию, агентов охранного отделения и разных добровольцев. Я повернул в какой-то переулок, зашел в какой-то двор. Осмотрел себя. Руки были немного в крови. Вытер их платком. Калош один потерял. Сбросил и другой; засунул все это под ворота и с гордым видом и заносчивой походкой ушел, никем не преследуемый. Вдали еще были слышны отдельные выстрелы. Все же, закончил Л., если

бы мы знали, что перевозится такая ничтожная сумма, то не жертвовали бы столькими жизнями. Нам передавали, что в карете будет не менее полутора миллионов».

Другой был менее счастлив. За ним по пятам гнались. Он не подпускал их к себе пока были заряды. Последним он покончил с собой, чтобы не отдаться врагу.

Двое, не видя выхода из оцепленной местности, зашли в какой-то двор, которые немедленно после конфискации были по приказанию полиции заперты и обысканы. Здесь они и были арестованы.

Суду были преданы восемь человек, арестованных в разных местах, на разных квартирах. Были между ними и не участвовавшие в этом деле. Но правительство воспользовалось этой экспроприацией, чтобы повесить тех, кто так тяжело наносил ему удар за ударом.

Имя «максималист» гремело по всей России и Западной Европе, вызывая удивление у одних, трепет у других и жажду мести у третьих. И вот в такое время собралась первая конференция максималистов, на которой был образован Союз Социалистов-революционеров-максималистов. Мои взгляды лишь в частности отличались от взглядов других и от принятых резолюций. Поэтому я счел возможным и нужным вступить в Союз, чтобы вновь начать работу, которая прервалась было благодаря стараниям московских социалистов-революционеров.

«Медведя» всюду ищут по предписанию Департамента полиции. А он снова в Петербурге, в самом сердце вражеского стана, которому он готовит новый страшный удар.

За несколько дней до его ареста я случайно с ним встретился, но не узнал его — до того он сделал себя неузнаваемым. Высокий, белокурый, с серыми глазами, он превратился в человека среднего роста, черными волосами и бородкой, с смуглым цветом лица и почти черными глазами. Смотрю, жму руку и не знаю кто.

—Чумбуридзе, сказал он.... Лишь по голосу я его узнал....

Он рассказал, что на его след напала охранка, что, выходя из одного дома, заметил подозрительных субъектов.

—Насторожился... Чувствую, что сзади идут. Как на грех не захватил браунинга. Решил свернуть в сторону, чтобы раздобыть револьвер. Забежал на конспиративную квартиру, смотрю осторожно из окна... Торчат шпионы. Решил уйти ближайшими проходными воротами, предупредив товарищей об опасности.

Его арестовали на улице накануне грандиозного террористического акта. Сзади... Писали, что арестовал его нищий, попросивший у него подаяния. Он остановился, чтобы вынуть деньги. В это время началось нервное подергивание лица. Он был узнан. Нищий — переодетый агент охранного отделения, следивший за той улицей, куда должен был своротить «Медведь». На помощь «нищему» явились городовые и он был скручен.

Среди максималистов, оставшихся в Петербурге, упорно носился слух, что все было готово для взрыва охранного отделения и департамента полиции. Успей он и удар был бы нане-

сен в самое сердце правительства. Но оно было предупреждено и приняло меры... Хотя мы и не знали, верно ли все это, но, зная «Медведя», имели право верить всему. Мы верили... И ужас объял всех нас. Говорили, что накануне ареста он виделся с представителем Боевой Организации ПСР, который передал ему о том, что его замыслы открыты и что охранка уведомлена о том, что он предпринимает.

— Или я провокатор, или моя жена, — крикнул будто бы «Медведь», пораженный точностью передачи. С ним чуть не сделался нервный припадок...

Его убеждали покинуть Петербург, ему доказывали, что продержаться долго он не может, что если его арестуют, то смерть неизбежна. А в таком случае за границей он гораздо больше сделает для дела, чем здесь в такой промежуток под угрозой виселицы. Но он не хотел уезжать, не выполнив задуманного Боевой Организацией дела. Он торопился... Но не успел. 1-го декабря 1906 года он был арестован, а на рассвете 2-го, т.е. менее чем через сутки, он был казнен.

— Руки прочь, были его последние слова палачу, захотевшему накинуть ему петлю. Он сам ее надел и умер также мужественно, как мужественна была вся его недолгая, но богатая и красивая жизнь.

Томительные дни переживали в конце ноября и в начале декабря те, кто знал о полном разгроме организации «Медведя». Не успели зажить еще душевные раны, нанесенные максималистам царскими слугами, как вновь из их рядов были вырваны — Н.Терентьева и Н.Климова, а с ними целый ряд лиц из боевой организации. Но — «Медведь», арестован ли, жив ли, здесь ли он, или бежал?... Томительная неизвестность... Где

узнать? Куда теперь можно идти? Где нет засады? Он должен был прийти в назначенное место, но не явился. Неужели арестован? А может быть он уже казнен, а мы еще не знаем...

Лишь через день после его смерти узнали мы, что арестован Чумбуридзе.

В 1906 году он был самым опасным врагом самодержавия, пользовавшимся громадными симпатиями и любовью даже Финляндцев, знавших его. Многие плакали прочитавши, что повешен «Анатолий» («Медведь»).

Его не стало! Уныние овладело очень многими из работавших тогда в Петербурге. Не то, чтобы мы не были готовы к этому, не то, чтобы мы не ожидали так скоро его смерти. Но слишком он был для всех дорог, слишком большие надежды на него возлагались, чтобы возможно было спокойно отнестись даже к тому, что ждали каждую минуту. Не было ни одного, хоть немного знавшего его, который бы сомневался в том, что правительству скоро будет нанесен ряд жесточайших ударов. Ведь «Медведь» еще жив! А пока он жив, он все сделает. Для него не было ничего невозможного... И это знало охранное отделение. Оно боялось этого врага и умышленно распространяло слухи об его аресте... Еще в начале ноября 1906 года в шведских газетах появилась заметка об аресте на Дворцовой площади 4-х автомобилей и 30 боевиков максималистов, пытавшихся взорвать Зимний дворец. Как это ни фантастично, но это сообщение, берущее свое начало в охранном отделении, показывает, как ценили силу Боевой Организации и организаторские способности «Медведя»... Для него и это не считалось невозможным.

Велики и широки были его планы. Рассказывали, что в период первой Думы он осматривал Государственный Совет с целью его взрыва. И он бы выполнил задуманное, если бы не нежелание похоронить под его развалинами нескольких профессоров — «кадетов», членов Совета.

У него будто бы был выработан план нападения на царскосельский крещенский парад... В его голове всегда гнездились планы один другого труднее. Для нас они казались уютными... Но не для него...

Достойными соратниками «Медведя» явились Н.Климова и Н.Терентьева...

Терентьева была арестована в Одессе незадолго до его смерти...

Я ее видел на конференции в продолжение нескольких дней. Высокая, стройная, красивая... Правильные черты лица... Скромно и изящно одета.

В деле Столыпина она сыграла одну из главных ролей — роль горничной в доме, откуда отправились террористы со снарядами.

Выдержанно, без шаржа... Так рассказывал мне Мортимер. На заигрывания лакеев отвечала улыбкой... На «любезности» швейцара — «строила глазки»... «Расторопная», вечно-бегущая куда-то с шутками и прибаутками — она отвлекала подозрение.

После отъезда ландо к даче Столыпина она будто бы с милой гримасой выскочила на улицу, оглянулась и сказала швейцару: «теперь и нам можно на часок, барин уехали... Совсем загоняли... Повеселиться надо же»... и упорхнула.

Наталью Климову я видел в Гельсингфорсе в гостинице в обществе нескольких максималистов. «Медведь» о чем-то говорил. Она встревоженная, волнующаяся ходила по комнате, заложив руки за спину...

Это та, подумал я, которая вместе с Н.Терентьевой принимала участие в организации покушения на министра. Но почему это страдальческое выражение лица?..

Вторично я ее видел после отъезда «Медведя» в Петербург. Она осталась, ожидая распоряжений...

Трудно стало жить, не имея паспорта, в гостиницах Финляндии. Революционеров, по настоянию правительства, арестовывали, а от приезжающих спрашивали виды на жительство.. Она жила поэтому, как француженка.

Когда вдвоем мы однажды зашли к ней и сказали, что по лестнице говорили по-русски, она заволновалась и крикнула: «у нас попросят паспорта или прикажут освободить номер... Что вы наделали?»

Теперь она производила совсем другое впечатление. Какая-то печать утомленности, какая-то грусть заволакивала ее взор. Сидя в кресле и охватив руками колени, она задумалась. О чем? О своей ли судьбе, или о предстоящей новой борьбе, новой схватке с царизмом, об успехах ли максимализма?

«Как здесь стало трудно жить! Русским проходу нет от шпиков» — сказала она. Она опустила руки и оперлась своей головой о ручку дивана и задумалась. Вся ее фигура, лицо, взор говорили о тяжелом душевном состоянии. Было ли это страдание за любимого человека, ежеминутно рисковавшего жизнью, был ли это надлом ее души под влиянием гибели лучших товарищей?..

Через несколько дней после этого она была уже в Петербурге и через несколько же дней она была арестована на квартире, где провела ночь...

На суде обе они держались бесстрашно, ожидая смертной казни. Спокойно они выслушали об этом приговор...

Их не казнили, а «помиловали» на бессрочную каторгу...

На конференции был еще один, о котором вспоминаю с восторгом. Вечно веселый, жизнерадостный, он всех заражал своим настроением. Жизнь была ключом. Все время шутил и делал многим «вселенскую смазь». Пел еврейские революционные песни, сильно искажая слова при ужасном произношении... И это сейчас же после дела 14 октября, в котором он принимал деятельное участие: был кучером, увезшим «даму под вуалью. Его хладнокровию и обязаны тем, что дело удалось.

И это настроение не покидало его до конца конференции. Все разъезжались... Он шел рядом с «Медведем» с подушкой в руках. Вдруг с размаху ударил его подушкой по голове с такой силой, что у «Медведя» закружилась голова. Он прислонился к дереву и простоял с закрытыми глазами минуты две. Когда головокружение кончилось, он, сверкнув глазами, сказал: «ну и глуп же ты!»

—Извини, братец, больше ни в жисть не буду...

Было бы преступлением перед памятью М.Соколова, если бы я не указал и на отрицательные стороны этой могучей личности. И прежде всего нужно упомянуть о том преступно-легком отношении и к собственной, и к чужим жизням, которая красной нитью проходила через всю максималистскую боевую практику. Более, чем к кому-нибудь, было применимо

к нему положение, что русские террористы стремятся умереть, а не победить.

«Медведь» рожден был диктатором. И хотя он стоял во главе демократической, но не децентрализованной, боевой организации, имевшей выборный Исполнительный Комитет, но эта черта его характера проявлялась и здесь. Все делалось так, как он хотел. Более того, часто он делал так, как никто из его товарищей не хотел.

Наконец, есть факты, указывающие на слишком небрежное отношение его к вопросу о подборе членов боевой организации, куда попадали многие, которым место где угодно, но не в террористической организации.

После провала «Медведя» и почти всей его организации мы поняли скорее чутьем, чем знанием истинного положения дел, что вряд ли Боевая Организация сможет вновь стать на ноги. Настроение было до того убийственное, самочувствие до того скверное, что парализовалась всякая энергия, всякая возможность что-либо делать в то время, когда нужно было действовать во всю...

Действовать! Но как начать! Остались ли где-либо члены этой организации, или никого уж нет?

В момент такого нервного состояния был «открыт» в самом центре Союза «провокатор». Это до того парализовало способность действовать, что решили лучше оставить на время город. Этот отъезд напоминал собою повальное бегство под натиском невидимого неприятеля.

«Провокатор» был открыт одним из членов Союза максималистов на основании целого ряда косвенных улик, имевших, как потом оказалось, место лишь в его воображении. Но в момент «открытия» неосновательность улик трудно было проверить и решено было до разбора обвинений отрезать заподозренного от работы путем извещения отдельных членов союза. Но когда установлена была вся абсурдность этого обвинения, пришлось извещать об ошибке, что внесло еще большую деморализацию в максималистские ряды, так как провокатор, существование которого где-то не отрицалось, не был найден и тем самым опасность провалов не миновала.

Бегством из Петербурга воспользовались, однако, для розыска товарищей «Медведя». Я отправился на юг России, где после долгих мытарств нашел Л. Узнав все подробности разгрома, он сказал: «Здесь Мортимер, поговори с ним».

О Мортимере (Семене Яковлевиче Рыссе) я слышал, что после съезда партии социалистов-революционеров в 1905 г. он перешел в ряды максималистов, пытавшихся создать самостоятельную организацию. Во время одной экспроприации в Киеве, в которой участвовал и Рысс, он был арестован. Попав в тюрьму, начал думать о побеге и будто снесся с «Медведем», который дал на его освобождение 10 тыс. рублей. Но так как революционным путем освободить Мортимера было невозможно, то он заявил начальнику охранного отделения в Киеве о своём желании поступить на службу в департамент полиции, если ему будет дарована жизнь. Предложение было принято. Ему организовали побег, за который охранявший его городской был приговорен к каторге. Из Киева Рысс уехал в Петербург, где он о сделанном шаге сейчас же дал знать «Медведю», который, доверяя ему, не прерывал с ним сношений. Но не все

знали всю истину о Рыссе. Л. передавал мне немного иначе историю поступления Рысса в департамент полиции. Он считал, что последний бежал с помощью товарищей, что поступил он в охрану по их же совету. В январе же 1907 года мне пришлось читать новый вариант на тему о побеге Мортимера из участка. Бежал он будто революционным путем с помощью жандарма, его охранявшего, на пароходе уже встретил начальника Киевского охранного отделения. Видя, что ему не скрыться, он сам подошел к нему и предложил свои услуги.

В момент же встречи с Рыссом в конце декабря 1906 г. в Екатеринославе я знал лишь два рассказа на эту тему, не считая слухов, о которых ниже.

Низенькая, еле освещенная комната. Вечер... Я стоял в углу против двери. Она открылась и на пороге остановился Мортимер в пальто с меховым воротником и в барашковой шапке. Глаза небольшие, острые, пронизывающие впились в меня, как бы желая сразу разгадать, кто перед ним.

Никогда такая жуть не охватывала меня, как в то время. Было ли это состояние человека, думавшего, что перед ним тот, кто отправил столько людей на эшафот; или это было состояние под влиянием мысли о стойкости и преданности революции личности, презиравшей смерть — трудно решить... А он не спускал с меня глаз...

Наконец, мы остались одни. Разговор, который произошел между нами, в самых общих чертах врезался мне в память, и я попытаюсь передать его целиком.

— Вы знаете, кто я, — спросил меня М.

— Знаю. Во-первых, вы Мортимер. Во-вторых, вы бывший «сотрудник» департамента полиции. В-третьих, вы состоите в

бегах, разыскиваете охранным отделением. Вас ценят очень высоко. За указание вашего адреса...

— Откуда вы это знаете? — заговорил, волнуясь, М. Это вам мог сказать лишь Анатолий.

— Ошибаетесь... Знают и другие...

— Знает Н.Климова. Быть может еще и Терентьева. О что это за женщины! Их имена достойны стоять рядом с именем Перовской!..

— Да, это верно. Но вас больше ценят...

— Я для них опасен, так как знаю очень-много и очень многих. Мне легче, чем кому либо, организовать террористический акт...

— Но как это сделать при вашем положении? Доверие к вам пошатнулось. Слух о том, что вы являетесь виной провалов, широко распространяется среди эсеров и эсеров-максималистов.

— Это я знаю. Но я все сделаю, чтобы рассеять всякие сомнения. Я приготовлю такой удар правительству, что одним этим я себя реабилитирую. Или смертью... Я знаю источник всех слухов о моем провокаторстве.

— А ваш побег из тюрьмы?

Он ответил, что кроме нескольких лиц никто о нем не знал, что Исполнительный Комитет Боевой Организации эсеров-максималистов высказался за разрыв с ним за этот побег, но что Анатолий и Климова ему безусловно доверяли и все время сносились с ним вопреки запрещению, что ему приходилось выбирать между смертью и служением революции в такой форме, что он пренебрег так называемой традиционной революционной моралью и самолично решил вопрос

о побеге. «Перед своей совестью я чист. Я был уверен, что и те, кто меня хорошо знал, одобряют мое решение. И я не ошибся»...

Я высказал ему подозрение многих максималистов, что департамент полиции не доверил бы человеку, бывшему революционеру, раскаявшемуся под виселицей, без выдачи с его стороны. Я напомнил ему, что в Петербурге он назначал у себя некоторым членам Боевой Организации свидания, что в Москве, как убеждены многие, он указал на Л.Емельянову, следя за которой можно добраться и до «главарей».

— Кто же эти многие? Разве Соколов, Климова, Терентьева, Л. мне не доверяли? Разве можете вы допустить, чтобы они, зная о выдаче, хотя бы ничтожной, имели со мной какое-либо дело! Или, если бы они не знали, то почему у них не могла зародиться эта же мысль? Ведь они то знали о том, как я бежал. Кто же это те, которые не верят? Неужели они дальновиднее, умнее, честнее и нравственнее этих, действительно, великих революционеров! Эти многие, по моему глубокому убеждению, говорят со слов эсеров, которые стараются потопить нас в омуте созданной ими же провокации.

Его речь лилась плавно, красиво. Чем больше он волновался, тем громче звучал его голос, тем большей энергией она дышала. Глаза его горели, метали искры, подвижное лицо его побледнело. Он говорил, что лишь департамент полиции в силах доказать, что он не провокатор, что у него, Мортимера, нет положительных данных, фактов, могущих слепых сделать зрячими, что все его доказательства являются «доказательствами от противного», но что Климова могла бы известить, кого-либо, если бы была хотя тень сомнения в его честности. Далее он указал, что за ним не могли следить, так как он нику-

да не ходил, ибо у него был мальчик лет 11-ти, который исполнял роль почтальона.

— Этого мальчика я подобрал чуть ли не на улице, спас от голодной смерти. Он был нем, как рыба. И теперь, когда я отправлюсь вторично в Петербург, я его возьму с собой. Никто не подозревал, чтобы такой малыш исполнял такую ответственную роль. Правда, ко мне на квартиру приходили, но приходили как раз те, которые знали, к кому они идут. Следовательно, вина также их, как и моя. Или, вернее, ни моя, ни их. Ибо, глубоко в этом убежден, я пользовался большим доверием и на меня в департаменте полиции смотрели, как на настоящего «сотрудника» без задних мыслей. Относительно выдачи Емельяновой могу сказать, что это праздная фантазия эсеровских кумушек. Ведь если вникнуть глубже в это, то всякий поймет, что это небылица. Допустим, я выдал. Но если это знаете вы, да еще от других, то нужно допустить, что я же доложил об этом Боевой Организации. Ее не арестовывают, значит следят. Почему же она не уехала? Эти слухи и многие другие находятся в связи со многими предложениями, которые я вносил боевикам. Двойная роль, которую я на себя взвалил, была трудна и опасна. Чтобы внушить к себе доверие, необходимо было хоть что-нибудь сделать. Я и внес предложение о двойной боевой организации — одну для выдачи, из лиц знающих, что их ожидает, другую, с «Медведем» во главе, для дела. Я внес предложение об устройстве фиктивной динамитной мастерской для выдачи, но без людей. Все это не было принято. Как бы кто ни относился ко всему этому, но на свой страх и риск я ничего не предпринимал. Климова предложила мне выдать ее, чтобы этим укрепиться в департаменте. Но вы

понимаете, что этой жертвы я не мог допустить.. В конце концов мне пришлось бежать.

Когда я упомянул о слухах, что нападение на карету, в которой Владимир Мазурин был отвезен из суда в тюрьму, не состоялось по той причине, что полиция была уведомлена Рыссом о готовившемся нападении, он разразился грозной речью против «подлецов и глупцов».

— Ведь если бы «они» были уведомлены, то попытались бы захватить тех, кто взял на себя эту трудную задачу.... Нельзя считать врага глупым! это большая и вредная ошибка.

— Я между Сциллой и Харибдой. С одной стороны — обвинение в «измене» департаменту и, в случае поимки — смерть, с другой обвинение в провокации. Так удачно бежать от сетей охраны и.... так неудачно запутаться в сетях товарищеских, расставленных, правда, по неведению... Но я не падаю духом. Я уверен, что смогу распутать этот узел, а пока.... бросим этот разговор и поговорим лучше о другом. Вы были на конференции. Думал и я попасть туда, но «Медведь» воспротивился. Кто был, какой состав, какие резолюции?

Еще с полчаса мы говорили на эту тему. Он обнаружил большие знания, широкую эрудицию, близкое знакомство с философскими вопросами, ораторские способности... Он производил впечатление талантливого человека, энергичного и смелого революционера, искусного организатора, но, должен сознаться, не лишённого некоторой дозы... революционного авантюризма, что проглядывало сквозь его рассказы о задуманных им выступлениях.

Мы условились выехать с ним одним поездом, в одном вагоне, чтобы иметь возможность потолковать. Поезд был бит-

ком набит. Мортимер отправился искать кондуктора, который отвел нам место в первом классе, в особом купе за отсутствием мест во втором. Осмотрев предварительно весь вагон и убедившись, что нет ничего подозрительного, мы расположились в нашем помещении.

— Л., начал М., получил, телеграмму. Его вызывают в Гельсингфорс. Но мы решили, что он не поедет, потому что я вызвал оставшихся сюда, и просил привезти также и деньги. Здесь мы соберемся, сорганизуемся и начнем сначала. Первое наше выступление будет тройным.

Я задремал. Проснувшись, я заметил, что Мортимера нет — он слез на одной из станций между Екатеринославом и Харьковом.

В январе собрались остатки боевой организации. Первое, что я услышал, было — Мортимер провокатор. Выставлялись те же доводы, которые были выставлены мною в беседе с С.Рысом. Но ни одного доказательства, ни одного обоснованного факта, все слухи и слухи, исходившие от эсеров, которые сказали, передали, предупреждали и только. Считая излишним приводить весь разговор с Мортимером, как не могущий служить к его реабилитации, я передал лишь, что видел Мортимера, что он знает от других и от меня о циркулирующих о нем слухах, что он собирает материал для восстановления своего имени. «Именно потому, закончил я, что мы ничего не знаем фактического о нем, мы должны пока порвать с ним до получения точных о нем сведений, не обвиняя его в провокации.

Но это не может воспрепятствовать его самостоятельной работе, которая им уже ведется».

Но напрасны были эти слова. Мортимер был тем фокусом, на котором сошлись мысли всех о провокации. И предлагались планы одни чудовищнее других — арестовать Рысса и держать его под стражей, пока не будет выяснен вопрос, выслать его из России с запрещением въезда навсегда, убить его и т. д. После долгих споров решили предложить ему выехать за границу и прекратить всякие сношения с Россией до выяснения «дела Рысса».

Он был вызван в Финляндию, куда он приехал через Швецию; там ему передали постановление. Но он отказался ему подчиниться, вернулся обратно и организовал на юге Боевую Организацию из лиц, ему доверявших. Между прочим, убийство Ростовского-на-Дону помощника начальника тюрьмы совершено одним из членов этой организации Онуфрием Музычуком 19 лет, учеником мореходной школы в Ростове. Но все усилия Рысса разбились о те препятствия, которые он встречал: с одной стороны недоверие многих лиц, с другой — отсутствие средств для намеченных террористических актов. Боевая организация после «Медведовского» периода отказала ему в материальной помощи. И ему приходилось думать... об экспроприации, чтобы на эти средства организовать «дело». Во время приготовления такой экспроприации он и был арестован в Юзовке.

Я видел в конце 1907 года в тюрьме рабочего, друга одного из тех, который случайно спасся от ареста на той же квартире, где был взят Мортимер. Он говорил, что последний был арестован при участии жандармов, специально приехавших из Петербурга. Если это верно, то имеет основание предположе-

ние, что Рысс был выдан так же, как и Соколов и много других эсеров-максималистов.

Перед собравшимися в М. стоял вопрос об образовании новой Боевой Организации Союза эсеров-максималистов. Необходимость ее не оспаривалась. Но план ее образования, предложенный одним членом союза, не был принят. Необходимо, говорил он, чтобы во главе стал талантливый боевик-организатор.

— Вспомните недавнюю организацию. Как она создавалась? И кем? «Медведем», Виноградовым, Климовой и другими, не менее их сильными. Куда бы «Медведь» ни приезжал, все льнули к нему, все просились в организацию и приходилось даже отказывать. Кем она держалась? «Медведем», Виноградовым, а потом «Медведем», Климовой. Вспомните, что в Боевую Организацию входили не одни максималисты, были там даже и максималиствующие социал-демократы. Но мощь Анатолия, его влияние, его обаяние на окружающих явились причиной того, что все разногласия стушевывались пред сознанием необходимости дела, живого революционного дела. «Медведь» был тем цементом, который скреплял все части и не допускал распада. Такого человека мы сейчас не видим в нашей среде и поэтому приходится начать с поисков. Нигде значение личности не может быть так велико, как в боевом деле. Особенно в деле организации террористических актов. Чем больше размах, организаторский размах террориста, чем талантливее организатор, чем большими связями он пользуется, тем удачнее все дела. Это банальная истина. Но ее не мешает чаще повто-

рять. Единственный, могущий заменить Анатолия, это Рысс. К сожалению, для нас он пока умер.

Этой точке зрения, поддержанной лишь одним, осужденным впоследствии по процессу 44-х максималистов², была противопоставлена другая — о значении коллектива. Значение отдельных лиц, даже таких, как «Медведь» ставилось ниже коллектива энергичных боевиков. Защитники этой точки зрения доказывали, что имея средства и связи всегда можно организовать самое крупное дело. Роль организатора берет на себя весь коллектив; отдельные функции берут на себя отдельные члены.

Решено было сделать попытку. Ассигновали 20 тысяч рублей для этой попытки. Взялись за это четыре товарища.

История этой попытки в высшей степени поучительна. Она подтверждает ту точку зрения, что широкая постановка террористического дела требует хотя бы одного «Карла»,

2 Он сказал: «Все мы здесь собравшиеся — хорошие люди, хорошие максималисты и боевики. Все мы прекрасно будем болтаться на столыпинских перекладах. Но я не вижу здесь тех, кто мог бы явиться творцом и организатором дел, задуманных Соколовым. И потому я был бы против попыток создания Боевой Организации до тех пор, пока мы не почувствуем среди нас того бойца-творца, которого мы сейчас лишены. В противном случае будут потрачены все средства, добытые кровью лучших людей Боевой Организации для специального дела (для организации цареубийства), будут жертвы, быть может погибнут остатки боевиков, но не будет никакого дела, не нанесем правительству ни одного удара».

«Медведя», Гершуни. История этой попытки доказывает, как не должно быть организовано боевое дело. Чего в самом деле недоставало той группе, которая взялась за дело создания максималистской боевой организации в начале 1907 г. Были средства, были энергичные, преданные делу, испытанные исполнители. Их было много... Были чисто рабочие группы, появившиеся в тот момент, когда рабочая организация максималистов в Петербурге ширилась и начала завоевывать симпатии, группы с честью поднявшие знамя максимализма.

Это были люди, рвавшиеся в бой. Но силы их пропадали даром. Некому было их использовать. Они, не имея средств, направлялись в сторону экспроприаций и за гроши (факт!) попадали на вечную каторгу и виселицу.

Исполнителей было много. Организаторов совсем не было. Был лишь — коллектив. И вот этот коллектив начал свою работу следующим образом. Не готовясь к определенному делу, они создавали условия для всякого дела вообще. Один взял на себя постановку паспортного бюро и организацию квартир. Нужно сознаться, что это ему удалось блестяще. Были заведены связи с разными лицами из всех слоев общества, с такими группами, которые стояли и теперь еще стоят вне всяких подозрений — тут были и артисты, и писатели — «старые» и «молодые», и врачи, и студенты, и рабочие. Другому было поручено заведывание перевозкой оружия и устройство складов. Один готовился разыскать «пропавшие» после разгрома Боевой Организации, казни «Медведя» и ареста Климовой 200 тысяч рублей из экспроприированных у Фонарного переулка, а все вместе они вели переговоры с одной группой боевиков эсеров (кавказцев), желавших получить средства для самостоятельной работы под максималистским знаменем, от

имени максималистской организации и предлагавших создание информационного бюро для координации действий. Переговоры привели к слиянию «группы четырех» и кавказской группы. С чего же начала эта расширенная организация? Опять-таки, с создания обстановки для будущей террористической работы. Та жизнь, которую вели боевики, жизнь почти открытая — вплоть до устройства вечеров, журфиксов, на которых бывали и артисты, и поэты, и беллетристы, могла бы принести громадную пользу, если бы одновременно со всем этим организовывалось «дело».

— Я вас совершенно не понимаю, говорил Н. часто. Как вы думаете что-либо сделать? Этаким тактикой! Наметьте конкретное дело, разработайте план, сообразно этому создайте все исполнительные органы вплоть до постановки динамитной мастерской, если, надо, а потом действуйте. Ведь вы с конца начали!..

— Нет, не с конца. Для действия организации нужны условия — мы их создали. Потом вели переговоры, устроили съезд... Думали сможем вместе работать, но в итоге — полное расхождение. Теперь мы вновь одни. Нет людей...

— Нет людей! Разве «Медведь», возразил Н., говорил когданибудь: «нет людей!» Ведь в этом и заключается все умение боевика-творца — находить людей, влиять на них, толкнуть их на живое революционное дело. Нет людей! Да откуда вы знаете, есть ли они, или нет, если вы сидите у себя с своими и не знаете, что делается дальше вашего носа. Опуститесь вниз, в массу, и поищите, там найдете... Как создавал «Медведь» свою организацию? Он объезжал массу городов. Где только его не видали? И везде он находил ценных работников. А вы говорите — нет людей! Что? разве иссяк источник? Нет, не иссяк. При-

чина вашей неудачи та, о которой мы говорили еще раньше, в январе. Здесь, в том городе, где вы теперь находитесь, есть много боевых сил, много годных для террора элементов. Почему вы их не используете? Они рвутся в бой... не находят его и... погибают ни за что.

Следствием этих разговоров явилась попытка новой экспроприации в Москве, так как для крупных террористических актов не было уже средств. Чтобы понять, как это могло случиться, придется сказать несколько слов о взаимоотношении Боевой Организации и Союза Социалистов-революционеров-максималистов.

После октябрьских и декабрьских дней и в период первой Думы в недрах партии социалистов-революционеров появилось сильное недовольство боевой тактикой партии и постановлениями ее Центрального Комитета. Особенно многочисленны были протестующие среди боевых элементов, среди террористов. Этим и воспользовались максималисты, считавшие, что в пережитый Россией момент после разгона первой Думы, подавления восстаний в Кронштадте и Свеаборге и неудачи всеобщей забастовки необходимо было усиление террора. И «Медведь» стал во главе организации, охватившей всех недовольных социалистов-революционеров. После взрыва на Аптекарском острове и экспроприации на углу Фонарного переулка тяготение к боевой организации максималистов было настолько сильно, что приходилось бороться с этой «эпидемией боевизма», приходилось удерживать работников для массовой работы, которая лишь зарождалась в некоторых городах. «Медведь» и многие другие из Боевой Организации ясно сознавали, что вынужденный моментом террор максималистов, увлекший почти все наличные их силы, при полном

отсутствии того резерва, массовых организаций, откуда можно было бы черпать новые силы для боевых действий, принесет громадный вред делу максимализма в России. В этом он сходилась с немногочисленными работниками в пролетарской массе и при их содействии была созвана первая конференция Социалистов-революционеров-максималистов, положившая основание Союзу Социалистов-революционеров-максималистов с его Центральным Исполнительным Бюро, направившим все свои наличные силы на укрепление своих позиций в Петербурге, Москве, Екатеринославе, отчасти в Белостоке и на Урале.

Боевая Организация максималистов имела своего представителя в Бюро и вошла в состав Союза на автономных началах. Но фактически это была совершенно самостоятельная, ничего общего не имеющая с Союзом, организация, постановляющая и исполняющая свои дела независимо от Союза и лишь извещающая Центральное Бюро о произведенном ею акте через члена его, самой Боевой Организацией выбранного.

Таковы были взаимоотношения этих двух органов, установившиеся под сильным давлением «Медведя» после конференции Боевой Организации в начале ноября 1906 года. Почти все члены Центрального Бюро высказывались против такой изоляции его от дел Боевой Организации, ибо, говорили они, при провале может случиться, что нельзя будет ее восстановить, нельзя будет доискаться тех связей, складов, мастерских, денег и т. д., которыми владеет Боевая Организация. Они оказались пророками... Ровно через два месяца после конференции, когда вся боевая организация была разгромлена, разбита, рассеяна, Центральное Бюро абсолютно ничего не знало, где что находится. И второстепенные, и третьестепенные чле-

ны Боевой Организации, исполнявшие при жизни «Медведя» и других передаточные функции и знавшие адреса, особенно адреса денег, бесконтрольно пользовались ими после смерти Соколова для каких угодно дел. Так один из членов Боевой Организации подозревался в том, что передал около тридцати тысяч рублей партии социалистов-революционеров на организацию убийства Лауница, другой — в том, что захватил из той же кассы 25 т. рублей и скрылся в Париж, третий — что скрылся с 25 т. рублей, у него хранившимися. И когда Центральное Бюро собрало, наконец, остатки «медведевской» организации в начале 1907 г., то они располагали суммой в 30 т. рублей. Следовательно, вместе с 30 т., полуденными Центральным Бюро от «Медведя», Союз знал лишь о 60 т.р. из 400 т.р. экспроприированных у Фонарного переулка. Когда «группа четырех» взялась за создание Боевой Организации, один из ней долго разыскивал 200 тыс. рублей, вывезенных из Петербурга после провала. Не раз я у него спрашивал: «ну, напали на след?»

— Напасть то я напал. Но что толку? Знаю, кто перевозил, но не знаю, где тот, кому отданы. Известно социалист-революционерам, но они не хотят давать адреса, отговариваясь незнанием. Теперь вот они пустили слух, что деньги сожжены. Но я раскопаю!..

Но ничего он не раскопал, ибо был скоро арестован. Лишь успел передать пишущему эти строки фамилию тех, кто «вывозил» деньги из опасного места.

Вот почему новой Боевой Организации пришлось вновь начать с экспроприации. За это взялся Л. Была снята дача, где поселилось несколько человек. Обстановка была роскошная, барская, с комфортом. Была и конюшня для лошади...

Слежка была организована, узнали дорогу, по которой ездил всегда карета; узнали о количестве охраны...

После одной из таких разведок взволнованный Л. рассказал об изменении пути следования кареты и об увеличении охраны. Он высказал мысль о провокации.

Некоторые доказывали, что это простая случайность: изменение пути везде теперь принято, а увеличение охраны может быть вызвано суммой перевозимых денег.

— Да что вы говорите — случайность! Сколько времени следил и никогда не меняли пути, всегда одно и то же количество казаков — десять человек, а сегодня — пятнадцать и неслись они, как черти. При такой бешеной скачке ни черта не сделаешь. Подозрительно!..

Но приготовления продолжались. Привезли пироксилин и динамит: приготавливали несколько бомб.

Месяца через полтора все, за исключением Л., были арестованы. Подозрения, высказанные Л. имели, по-видимому, основания.

По просьбе Л. была организована для этой экспроприации группа из десяти рабочих из Петербургского района во главе с Христианом Маурером. В первый раз при встрече он произвел на меня впечатление молчаливого и вдумчивого революционера. Когда я вошел к нему, из глубины комнаты выделилась фигура в больших грубых сапогах, в засаленном картузе, с сердитым лицом и нахмуренными бровями. Я обратил внимание на его большую, мозолистую руку и голубые глаза. Он был весь — сила. От него веяло несокрушимой энергией и физической мощью. Плечи широкие, сам коренастый, мускулистый.

Сошедшись с ним поближе, я узнал, что он очень конспиративен. Говорил очень мало и неохотно. Агитационных речей не любил слушать.

В комнате у него всегда был браунинг или маузер; бомбы, динамит, оболочки, запальники и револьверы хранил в укромном месте.

Без средств и связей он пытался экспроприацией добыть деньги, чтобы начать «настоящую работу».

Она была неудачна....

В течение долгого времени он ходил злой, пасмурный, задумчивый. Неудачная экспроприация, при которой погибло несколько посторонних, на него сильно повлияла. Он начал говорить об осторожном пользовании этим орудием борьбы.

Его приговорили к смертной казни, замененной ему пожизненной каторгой. В арестантском халате, в кандалах присутствовал он на втором своем суде. (Дело Христиана Маурера, А.Сиверова и др.) На вопрос председателя, не воспользуется ли он правом последнего слова, Христиан, загромыхав цепями, гордо подняв голову, сказал: «Я максималист. Можете судить меня по всей строгости ваших законов».

Другой был моложе его. Живой, подвижной, энергичный всегда улыбающийся и веселый, он, как бы, дополнял собой мрачного Христиана, строгого и необщительного. Он искал боевое дело. Но не только приложить куда-либо свою силу, даже выйти из комнаты он не мог: не было ни сапог, ни пальто, ни шапки. Он безропотно сидел всегда дома и читал. Долгое сидение без работы сильно его озлобили, и он делался постепенно ярым сторонником экономического террора не только против капиталистов, но и против представителей таких

учреждений, как черносотенные или буржуазные городские самоуправления.

Третий производил прямо отталкивающее впечатление (в конце концов он был выброшен из группы). Во всем выражении его лица было нечто иезуитское. Глаза маленькие, хитрые, бегающие, избегавшие прямого, «в упор», взгляда, губы плотно сжатые. Во взгляде—жестокость.

Я помню один его рассказ о предателе — рабочем, который был убит. Дрожь охватила меня и холод проник в душу. Это было не простое изложение факта, — тем более не печальная, грустная повесть о необходимости прибегать к таким средствам самозащиты. Нет! Это был какой-то гимн убийству провокаторов, какое-то сладострастное упоение предсмертными судорогами, какая-то жажда крови. При рассказе о том, как вонзили нож в бок, он крякнул, как пьяница после выпитой чарки, охнул, поднял руки и картинно изобразил, как опустилась она с ножом, как вошел нож в тело, издал крик смерти и даже закрыл глаза.

Я отшатнулся от этого «людоеда». Но о нем давали хороший отзыв — он был очень деятелен, раздавал литературу, что-то организовывал, что-то задумывал, но при рассказе о своих предприятиях производил впечатление человека неискреннего, чего-то недоговаривавшего. Его голос, пониженный до шёпота, обдавал холодом, будил чувство гадливости. Он остался вне группы...

Все остальные были обыкновенные рабочие-боевики, смело шедшие на встречу смерти. Это были те безымянные герои, которые сотнями погибали в эпоху реакции. Тихо живут они, тихо сходят в могилу. Лишь об одном из них нельзя

умолчать. Это был совершенно молодой максималист, сын рабочего, еще ученик. Его влекла к себе опасность — террор, экспроприации, нападения. Он с увлечением говорил о смерти во время «дела», даже не для революционного «дела». Смерть ради смерти, подвиг ради подвига, в чем он усматривал красоту жизни, — вот его характеристика.

Из таких людей состояла группа десяти, которая была арестована до московского провала на разных квартирах и в разных частях города и которая должна была войти в состав Боевой Организации эсеров-максималистов.

После такого удара все разрушилось. Уже в период агонии Боевой Организации боевики наткнулись на организатора, который раскритиковал все их действия, но на предложение стать во главе и возродить боевку ответил:

— Отыщите раньше того провокатора, который провалил Анатолия, потом сделайте мне предложение, не раньше. Быть повешенным только за намерения не желаю.

Так погасла боевая организация эсеров-максималистов, имевшая большие связи во флотском гвардейском экипаже, среди матросов императорской яхты «Штандарт», среди солдат Петропавловской крепости, среди писарей интендантства и генерального штаба.

В то время, как Боевая Организация «Медведя», после неудачной попытки «группы четырех» реставрировать ее, совершенно распалась, крепла и росла боевая дружина Петербургской организации максималистов во главе с казненным в

конце июня 1907 года под фамилией Агапова Николаем Любо-мудровым.

В январе 1907 года не существовало еще в Петербурге максималистской организации. Были отдельные интеллигентные лица, были рабочие, разделявшие максималистские воззрения, почти во всех районах (Коломенском, Московском, за Невской заставой (на Семянниковском заводе), в Василеостровском районе, на патронном заводе, на галерном острове и т.д.) Мне удалось собрать все эти силы, среди которых был и Николай Любомудров, бывший ученик Псковской сельскохозяйственной школы. Высокий, с смуглым энергичным лицом. Молчаливый, немного напоминавший Христиана.

Через несколько дней при содействии этой группы было устроено собрание активных работников-максималистов, на котором присутствовало 22 представителя от рабочих групп. На этом собрании был выбран комитет, куда вошел и Николай, взявший на себя боевую работу.

С его именем связан целый ряд мелких нападений, мелких экспроприаций и террористических актов. Не потому, чтобы он не был способен на нечто большее, а потому, что это была вся его тактика. Все вопросы того момента он решал единообразно: вопросы безработицы — путем систематических экспроприаций денег, пищи, одежды. Вопросы борьбы с организованным капиталом — экономическим террором. Вопросы политической борьбы — политическим террором. И это потому, что он хотел помочь рабочим сейчас, сию минуту. Как бороться с безработицей? Путем уничтожения капитала? Но сейчас его уничтожить нельзя, значит умирать с голоду! Как помочь безработным добиваться общественных работ! Но пока

их добьешься, как жить? И он приходил к тактике экспроприаций.

Правда, ему не был присущ тот размах, которым отличались «Медведь» и Мортимер. Но и перед ним носились широкие задачи, выполнение которых, быть может, ему и удалось бы, если бы он не увлекся своей в принципе неверной тактикой и если бы условия, в которые был поставлен Николай, благоприятствовали проявлению его инициативы и организаторских способностей. Известно, что группа лиц с Николаем во главе обсуждала план взрыва одного учреждения путем автомобиля, нагруженного необходимым количеством взрывчатого вещества, управляемого одним из этой дружины и пущенного прямо в двери.

Отсутствие средств, оружия, взрывчатых веществ, хороших, знающих свое дело, химиков и техников часто приводили к неудачам. Так, покушение на портового адмирала Грече, его помощника и двух мастеров не удалось потому, что бомба, брошенная с носа крейсера «Баян» не взорвалась. Покушавшийся рабочий скрылся и был арестован лишь через четыре дня. По дороге в охранное отделение он отравился.

Рабочие были сильно взволнованы неудачей, обвиняли организаторов в том, что те отправляют людей на смерть, не обеспечивая успеха делу. Результатом этого недовольства явилось еще одно покушение на нового адмирала, выполненное самолично рабочим, известным в максималистской организации под именем «Генерала». Встретив начальника порта, направлявшегося на крейсер, он выстрелил в него всего один раз, ибо в браунинг, впопыхах, была вложена «генералом» обойма с одним лишь патроном.

При таких условиях начал свою деятельность Николай. Смелость его, не знавшая границ, привлекала к нему многих рабочих, недовольных программой, и, главным образом, тактикой партий. Он пользовался громадным влиянием на рабочих тем, что во всех «делах» он лично участвовал. Он их не только организовывал, но под его непосредственным руководством они и исполнялись. Не раз его рабочая дружина настаивала, чтобы он себя поберег, сохранил. Но он не мог посылать на смерть, он делил со всеми опасность предприятий и неудачи. Благодаря этому неуловимая петербургская дружина максималистов сильно разрослась, так что пришлось разбить ее на десятки и образовать центральную дружину, которая и совершила целый ряд актов. До чего ценны были рабочие, организованные Николаем, можно судить по тому факту, что на одно «дело» им было двинуто сразу до 40 боевиков. Оно не состоялось. По сигналу все разошлись. И это дело до сих пор неизвестно охранному отделению, что указывает на то, что среди такого множества, правда лучших из все росшей максималистской организации Петербурга, рабочих не оказалось ни одного предателя или провокатора. И это в то время, как с легкой руки социалист-революционеров говорили: где три максималиста, там непременно один провокатор³. Вообще

3 Теперь ясно, что распространение этих слухов принадлежит Азефу и что громадная доля, если не вся, вины за деморализацию, внесенную в максималистские ряды этими слухами, принадлежит также Азефу.

нужно сказать, что петербургская группа максималистов не имела внутри себя провокаторов⁴.

Я встретился с одним рабочим из центральной группы, который в ярких красках изобразил мне необычайную твердость духа, которую проявлял Николай и его соратники во время нападений. За очень короткий промежуток времени — четыре месяца — он выступал много раз; мне известно лишь о шести.

Он организовал экспроприацию двух почтовых отделений. Часть участников удалилась через окна. Неимоверная быстрота и знание местности, — вот что было характерной чертой Николаевской дружины. Все они беспрекословно исполняли его приказания во время акта.

Во время одного нападения на магазин Николай бросился по направлению к одному генералу, там находившемуся, и громко крикнул:

— Генерал! подымите руки, и мы вас не тронем...

Генерал повиновался. Ибо, говорят очевидцы, голос его действовал как внезапный удар грома, был властно — настойчив, взгляд его грозен...

Когда он брал кого-либо за руку, ею нельзя было двигать...

К числу неудачных его выступлений относится попытка «снять» посты городских на Выборгской стороне. Было наме-

4 У Баранова и Наумова пытками вынудили «откровенные показания», от которых они на суде отказались. С организацией у них связь была прямо-таки ничтожна.

чено 16 пунктов, на которые одновременно должно было быть произведено нападение.

Была темная ночь... Лил дождь... Ни зги не видно было. Участники не слышали сигнала — выстрела. Лишь на ближайших постах «сняли» двух — одного обезоружили, другого, сопротивлявшегося, убили. Остальные разошлись...

Дело убийства двух инженеров, тормозивших широкую постановку общественных работ, принадлежит этой дружине.

Не перечисляя еще очень многих его выступлений, скажу лишь о его нападении на ломбард, во время которого почти все дружинники погибли — часть была арестована, двое покончили с собой, не желая попадать в руки врагов, одного убили годовые. Лишь один скрылся.

После экспроприации отряд во главе с Николаем демонстративно, чуть ли не потрясая оружием, двинулся по улице и... наткнулся на полицию. Пришлось отступить. Отряд разделся. Одна часть не сдалась — погибла от своих собственных рук. Другая, и Николай в том числе, была арестована...

Ценой гибели всего отряда было куплено знамя максимализма — бесстрашие и презрение к смерти.

Я видел Николая в тюрьме за день до смерти. Спокойный, он вышел совместно со всеми на прогулку. Оглянувшись и увидев меня, он произнес: «приговорен к смертной казни».

— Когда? За что?

— Вчера... За убийство, кажется, восьмерых, во время сражения с полицейским отрядом. С ним было казнено трое его товарищей.

Мои воспоминания о Петербургских максималистах были бы не полны, если бы я забыл хотя бы вкратце охарактеризовать личность Ирины Каховской и М—ы.

— Не производит ли она на вас впечатления святой? спрашивала меня не раз знакомая социал-демократка меньшевичка. Какая вера! Какая преданность! Знаете, у нее очень часто нет денег для поездки за Шлиссельбургскую заставу к рабочим, и она идет чуть ли не 10 верст пешком с петербургской стороны. Только первые христиане так веровали да, пожалуй, первые русские социалисты. Теперь что-то мало таких, которые бы пешком ходили. Посмотрите ее лицо: бледное, спокойное, дышит глубокой верой в торжество социализма...

И эти слова были верны. Еще недавно социал-демократка, она под влиянием пережитых Россией событий перешла в ряды максималистов. Ее роль была очень скромная — роль пропагандистки в рабочих кружках. Она пользовалась большим уважением среди тех рабочих, с которыми она сталкивалась. За ее простоту, за ее искренность, за ее глубокую веру в торжество рабочей революции, которая передавалась ее слушателям, к ней относились с глубоким уважением и ценили ее, как лучшего друга.

Она никогда не задумывалась над тем, какую каторгу готовят ей царские палачи за ее культурно-максималистическую деятельность. Этот вопрос ее мало трогал.

Она совершенно не интересовалась тем, следят ли за ней, или нет: она делала свое дело с сознанием, что выполняет нравственно-обязательное для себя...

Помню ее убеждали оставить Петербург, так как за ней ходили по пятам.

— Не ради себя, Ира, а ради товарищей, которых вы «замарываете», вы должны это сделать!..

Она уехала. Но жажда работы была так велика, что она решила быть конспиративной и вернуться в Питер.

— Скоро мы отсюда уедем.

Она собрала целую группу рабочих, которым рисовала яркую картину работы «на Волге» — хождение с пристани на пристань, с берега на берег, из села в село. С этой группой она мечтала двинуться в путь.

— Все это хорошо, Ира. Вы поедете, будете работать. Но нужно же «выжить» это короткое время!.. Вас могут во всякое время арестовать — и тогда прощай, матушка — Волга!.. Вы бы хоть «пообчистились». У вас на квартире, наверно, есть какой-нибудь склад...

— Ничего нет... Все убрано...

Во время обыска у нее нашли паспорта, печать какой-то боевой дружины, какие-то записки и т. д.

Ее судили по делу нападения на квартиру ростовщика Франка, к которому она не только не имела отношения, но даже возмущалась, что максималисты могут заниматься такими делами. Она успокоилась, когда узнала, что максималисты тут не при чем.

Вспоминая Иру, нельзя не вспомнить и другую девушку — М. Энтузиазм ее не имел границ. Довольно опытная пропагандистка, хотя довольно молодая. Пользовалась влиянием в Московском районе.

— Знаете, заявила она мне при встрече. Ира осуждена... Ее надо спасти.... Необходимо устроить побег...

— Но, М., теперь об этом думать нечего. Все разгромлено.

— Как? для Иры нет товарищей?

— Нет денег....

— Денег.... Необходимо достать.... У социалистов-революционеров. Ведь они у нас брали!..

О! Еще как брали! Всеми способами...

— Всеми! Не может этого быть...

— Как не может! На первой конференции нашей был прочитан отчет деньгам, экспроприированным в Москве в Обществе взаимного кредита дружиной Мазурина. Этот отчет, неполный, был составлен Василием Дмитриевичем Виноградовым, казненным незадолго до конференции. Там в отчете значилось, что партия социалистов-революционеров получила через двух лиц свыше 100 тыс. рублей следующим путем.. Один член Московской оппозиции получил на хранение около 45 т.р., и с этой суммой он перекочевал в партию социалистов-революционеров.

Когда об этом заявили Центральному Комитету и потребовали обратно деньги, ЦК ответил, что получил их от «частного лица». Другой просто забрал свыше 55 т.р. у своей знакомой, у которой хранились экспроприированные деньги. ЦК заявил, что получил «от частного лица». Кроме этих путей добывания денег дружина, устраивавшая экспроприацию, выдала: Северо-Западному областному комитету ПСР на крестьянское дело 20 т.р., Екатеринославскому комитету ПСР —3 т.р. Крестьянскому союзу ПСР —2 т.р., на освобождение каторжан —10 т.р. Петербургской террористической группе — 20 т.р. Других цифр

я не помню, но отчет можно достать, если понадобится. Кроме того, знаете ли вы, где 200 т.р., взятых ценою смерти восьмерых наших товарищей у фонарного переулка? Нужно спросить у эсеров: они дали бы нам ценные указания, но «не хотят».... На эти деньги можно было бы освободить не одну Иру. А вы говорите, эсеры дадут и «не может быть». Очень тяжело бывает, когда узнаешь то, что мы знаем. Не таковыми должны быть социалисты.

Мой рассказ ее очень поразил. Она сильно задумалась.

Глава VIII

Первый мой арест произошел в начале 1902 года по подозрению в принадлежности к тайному студенческому «сообществу», поставившему себе целью «борьбу с реформой нового министра народного просвещения генерала Ванновского». Я жил в Харькове, ожидая обратного приема в институт, откуда был уволен «либеральным» и «дипломатичным» директором Д. Зерновым, старавшимся поступать так, чтобы и волки были сыты и овцы целы. И всегда он, «скрепя сердце», приносил овец в жертву волкам, чтобы удержаться на своем посту.

Я не слышал звонка, не слышал, как открылась дверь и появилась полиция. С трудом я был разбужен приставом. Я открыл глаза и с удивлением и любопытством осматривал непрошенных гостей. Мне заявили, что по приказу Жандармского Управления они должны произвести у меня обыск.

— Ну, что ж, ответил я, одеваясь.

Обыск не дал никаких «осязательных» результатов. Все же я был отправлен в тюрьму «впредь до выяснения причин ареста».

В первый раз я знакомился с русской тюрьмой. О! Что за отвратительное впечатление она произвела на меня! Я читал ужасные рассказы о тюрьмах, их режиме, обстановке, обращении начальства с политическими арестованными, но, когда пришлось на себе испытать всю «прелесть» тюремной жизни, оказалось гораздо хуже, чем я себе представлял. Особенно тяжело было первое ночное впечатление. Громадная камера еле освещалась. Ужасная вонь от параши и от соседнего с камерой «ретирада» так «била в нос», что у меня закружилась голова, как только я переступил порог камеры. На привинчен-

ных к стенам кроватях сидели, не раздеваясь, арестованные, боясь нашествия клопов, кровью которых были испачканы все стены. Противоположной стены не видно было — она терялась во мраке тюремной камеры, наводившем на грустные размышления.

Переступив порог, я заметил целую кучу людей с блестящими пуговицами — то были студенты, арестованные тою же ночью. Никого из них я не знал, а между тем все обвинялись «в составлении сообщества». До утра обсуждали мы вопрос, как добиться... лучшей камеры. Остановились на посылке депутации. В 1902 г. «политика» была на особом положении — положении привилегированных и с ними «церемонились». А к студентам было самое благосклонное, отношение. И когда наша депутация заявила о желании переселиться в новую камеру, начальник тюрьмы тут же приказал ее приготовить.

Не зная, сколько продлится мое заключение, я решил не терять времени напрасно и начать заниматься. Но через несколько дней, вследствие слухов и толков об арестах, возбуждавших студенчество, нас отправили в уездную тюрьму в сопровождении исправника — барона. Этот остроумный муж телеграфировал на станцию, откуда нам приходилось ехать на лошадях, чтобы к приходу поезда был усиленный наряд полиции, не упомянув о причине такого распоряжения. Местная власть вообразила, что едет «важная персона». И когда подошел поезд, на перроне, вытянувшись в струнку, в блестящих сапогах, новых мундирах, в ряд выстроились городовые, помощники приставов и «сам» пристав. Обыватели, заметив «праздничный» вид полицейских, спешивших на вокзал, двинулись за ними. Образовалась громадная толпа. Скоро прибыли два поезда со многими пассажирами. Увидя «блестя-

щую» полицию, они смешались с толпой, вместо того, чтобы спешить к буфету. Из мастерских высыпали рабочие в количестве нескольких сотен...

Они дождались... Подошел и наш поезд. Вагон, в котором мы находились, отцепили и отправили на запасной путь. Любопытство еще больше разгорелось у обывателей и рабочих.

— Студенты!.. Арестованные студенты! шумела толпа.

Городовые «наводили порядок», но от этого получался лишь беспорядок, и любопытные шмыгали мимо окон вагона.

Рабочие приветствовали наше прибытие криками: «да здравствуют студенты!..»

Долго мы стояли на запасном пути. Ушли поезда, разогнали публику, кое кому достались и затрещины и... нас подвезли к буфету первого класса. Здесь был накрыт стол на шестнадцать человек. Мы уселись обедать; нам подали по рюмке водки, прекрасный малороссийский борщ, битки в сметане, чай... «Закусив» папирасой на казенный счет, мы начали готовиться в 45-и верстный путь.

К крыльцу подкатали земские тройки с бубенцами, запряженные в рессорные экипажи. По двое уселись мы внутрь, на козлах ямщики и городовые; лошади быстро помчались под гиканье ямщиков, боявшихся отстать от исправника, который несся впереди всех. Два раза переключивали лошадей и два раза исправник угощал нас пивом, заботясь, по-видимому, чтобы у нас не пересохло в глотке.

К вечеру мы приехали в тюрьму из светлых и чистых одиночек. Но в это время студенты даже в тюрьмах пользовались льготами, и мы свободно ходили из камеры в камеру, получали обед из гостиницы за приплату в десять коп., вставляли и ложи-

лись, когда хотели и т. д. Начальник тюрьмы часто приходил к кому-либо из нас и просиживал по часу, по два, ведя с нами разговоры на всякие нереволуционные темы...

Приходил и жандармский ротмистр... с собакой. Во время допроса учил, как давать показания, чтобы харьковская жандармерия не могла создать никакого дела. И действительно через месяц все были освобождены.

Наступила оттепель. Грязь была невылазная. В каждый экипаж необходимо было запрячь по пяти лошадей, чтобы не остаться посреди дороги. На имевшиеся у меня деньги можно было нанять десять, не только пять, но начальнику тюрьмы жаль было моих денег и он пошел со мною торговаться. Побывали на всех почтовых станциях, у всех обывателей, но ничего не помогало — запрашивали немилосердно.

— Знаете что? обратился он ко мне. Идем к исправнику и скажем, что у вас нет денег для проезда. Может быть он вас на земских отправит.

Пошли. Выслушав начальника тюрьмы, он разъяснил мне, что по закону нельзя отправлять освобожденных ни на земский, ни на казенный счет. Но... «закон можно обойти на сей раз. Идите в тюрьму и напишите донесение, что освобожденный из тюрьмы Н. не желает выезжать на место назначенного ему жительства. Тогда я распоряжусь отправить вас. Но придется ехать с урядником. Мне надо получить на станции багаж. Как раз кстати... Вы ничего не имеете против урядника?»

— Ничего, ответил я. Не в тюрьму везут, а из тюрьмы...

Через три часа к тюремным воротам подкатила тройка хороших лошадей и менее чем в пять часов по ужасно топкой

дороге добрались мы до станции железной дороги. Утром следующего дня я был в приемной директора института.

— Вас я не могу принять!.. — Этими словами встретил меня Д.Зернов. — Вы обвиняетесь в государственном преступлении...

Не дождавшись окончания его слов, я вышел и уехал на юг под надзор полиции.

Глава IX

Явившись в город Е., я прежде всего зашел к полицеймейстеру за своими документами. Узнав, что я поднадзорный, он раскричался:

— Опять неблагонадежный!.. Весь город мой испортите! Что вы здесь будете делать? Заниматься уроками вам нельзя, на службу поступить нельзя... Ничего вам нельзя!..

— А умирать с голоду можно?

Он удивленно на меня посмотрел.

— Умирать! Зачем умирать? Я думаю, что вы найдете здесь работу, забормотал он...

— А разве есть какая-либо работа, которая не находится под запрещением?

Полицеймейстер благосклонно улыбнулся.

— Вы студент? Вот кстати: я еду к городскому архитектору. Быть может, у него найдется чертежная работа. Поезжайте к нему, или, если хотите, я вас подвезу.

— Нет уж, не гоже нам в начальнических колясках разъезжать...

— Как хотите, обидчиво ответил сатрап. Как хотите!.. Лошади готовы? — гаркнул он вдруг и выскочил из своего кабинета.

Целый год я прожил в этом городишке и целый год я занимался революционной деятельностью. Был, правда, один пристав, который говорил: «с тех пор, как Н. сюда приехал, и прокламации появляются, и кружки собираются. Не я буду, если я его не накрою.»

Но накрыть так и не удалось. Ни обыски, ни слежка ничего не дали, ибо и то, и другое было настолько еще первобытно, что мало-мальски опытному революционеру легко было избежать провала. Несколько раз я даже уезжал из города, и никто этого не замечал. В первый раз, желая создать социал-революционную группу, я отправился за помощью в Киев. Прямых, непосредственных связей у меня не было, приходилось добираться к эсерам через социал-демократов. Но, — или последние не хотели меня сводить со своими «врагами», или у них не было связей, — не солоно хлебавши пришлось возвращаться обратно, пошатавшись несколько дней по Киеву, по Дарнице и даже по Нежину. Во время этого путешествия мне впервые пришлось «сразиться» со шпионами. Дело происходило таким образом. Уезжая из Киева, я просил одного товарища-студента проводить меня на вокзал; здесь я обратил внимание на троих подозрительных субъектов.

— Не шпионы ли? спрашиваю я товарища.

Они самые... Я их знаю и они меня тоже. Напрасно пошел вас провожать. Теперь за вами наверно будет «хвост»...

Так оно и случилось. Так как мест в вагонах третьего класса не было, мне пришлось перебраться в служебный второго класса, прицепленный к самому концу поезда. Здесь устроились и мои преследователи.

Усевшись, я как будто задремал. Они тоже не подавали вида, что интересуются мной. Явился контроль. Они предъявили какие-то карточки.

— Это, по-видимому, карточки охранного отделения на проезд во всех поездах и во всех классах, — решил я и стал

думать, как избежать ареста, или, в лучшем случае, как не дать себя проследить.

В Фастове я сошел в буфет. Они тоже. Перед третьим звонком я стал на первую ступень последней площадки последнего вагона. Они прошли мимо и заняли такое же положение на предпоследней площадке. Поезд тронулся. Я взобрался выше. И они... Когда поезд пошел довольно быстро, я спустился на последнюю ступень подножки, спрыгнул на насыпь и быстро стал между рельс позади поезда. Лишь через сутки с большими предосторожностями я отправился далее. И с этих пор меня перестали провожать на вокзал.

Вторично мне пришлось оставить город недели на три. Я прибег к следующему средству. В день отъезда я переехал на новую квартиру к знакомому, который взялся прикрыть мое отсутствие, пока будет возможно, и телеграфировать, если оно будет замечено. Я ехал по делу студенческого съезда. Побывав в Харькове. Москве, я направился в Петербург, имея только одну явку, данную мне Гр. Гершуни к Ремянниковой и адрес одной курсистки. Желая узнать мнение социалистов-революционеров относительно предпринятого нами студенческого дела — создания общестуденческого беспартийного органа с целью сплочения студенчества вокруг него для политической и революционной борьбы с правительством, — я обратился к Л. Ремянниковой с просьбой свести меня с кем-либо из петербургских эсеров. Она согласилась. Вечером явился... Азеф. Выслушав меня, он, по-видимому из приличия, сказал несколько слов на тему, что примирить студентов социал-демократов и социал-революционеров невозможно, попрощался и ушел. Я чувствовал себя скверно. Неужели, думал я, это дело настолько ничтожно, что не хотят об этом и говорить... И кто?

социалист-революционер... Ведь Гершуни, узнав о предприятии, нашел своевременным и возможным сплочение студенчества вокруг органа, помог адресами и советами. А этот?

Я обратился к Ремянниковой с этим же вопросом. Она, напротив, живо и сочувственно отнеслась к этой мысли, подбодрила меня и пожелала всяческих успехов. Я ушел спокойный, с верой в правоту дела.

Через курсистку, адрес которой у меня имелся, я добрался до одного из членов Союзного Совета, передал ему программу съезда и адреса, получил деньги на дорогу и отправился в Ригу, Юрьев и Варшаву. В первых двух городах мое предложение встретило живой отклик. В последнем — полное равнодушие. Удрученный тем, что польское студенчество не сочувствует идее обще-студенческой политической организации, я вернулся на вокзал. Сажу в ожидании поезда. Поворачиваю голову к дверям, вижу пару устремленных на меня жандармских глаз.

— Чего это он? Кажется, чисто ехал... И вид у меня джентльменский... А у самого кошки, что называется, на сердце скребут — в корзинке, взятой мною для конспирации, лежали... «Записки революционера» Кропоткина и «Кому принадлежит будущее» П.Лаврова, услужливо предложенные мне в Петербурге Е.Азефом.

Минут за пятнадцать до отхода поезда иду за билетом. Стал в очередь, вижу, жандарм просунул голову в кассовое оконце и шепнул что-то кассиру.

— Ага! Наверно просил заметить, куда возьму билет.

Решил ехать «зайцем». Вслед за жандармом ушел и я от кассы. Взял вещи и полез в вагон, но так, что пришлось лицом стать к платформе.

Жандарм не спускал с меня глаз.

— Это без сомнения за мной. Как быть?

Все вагоны были битком набиты. Я оставил вещи в одном, а сам перебрался в другой с намерением вылезть на противоположную сторону. Но что это? Неужели жандарм угадал мои мысли? Он здесь, с этой стороны поезда...

— Будь что будет, решил я.

Поезд тронулся. Впервые очутился в числе безбилетных пассажиров. Приготовился к объяснению с кондуктором. Вдруг слышу:

— У вас билет есть?

— А что?

— Если нет, то мы вас в свою компанию возьмем. Мы все без билетов. С кондуктором едем.

Я согласился и проехал таким образом станций пять. За это время успел осмотреть весь поезд, но ничего подозрительного не заметил. Лишь тогда я взял билет прямого сообщения домой.

Как только я явился, мне сообщили, что городской четыре раза приходил звать меня в участок, и каждый раз ему отвечали: завтра придет. Оказалось, что я попал в участок к приставу, который очень хотел меня «накрыть». В тот же день я переехал на старую квартиру, чтобы не явиться на зов пристава.

Через несколько месяцев, в начале 1903 года, на мою долю выпала поездка за границу для напечатания первого номера студенческого журнала («Студент»). Я успел уже отбыть приговор «по высочайшему повелению» за хранение гектографированной брошюры. По явке, данной мне киевскими эсерами, я отправился в один из пограничных городов, где нашел лиц,

заведующих переправой через австрийскую границу и три дня продержавших меня в «конспиративной» квартире, очень сырой, грязной и темной, полной клопов...

Мы выехали вечером на городском извозчике в местечко Х. к мельнику. Ночь была до того темная, что меня за руки ввели в комнату. Двор был так грязен, что нельзя было ступить, чтобы не набрать полных ботинок. Шум воды, скрип колеса, белые фигуры работников, движущихся в темноте ночи, таинственность, с какой было обставлено прибытие, тихий шепот контрабандистов, — все это волновало меня, впервые переправлявшегося через границу, рисовало в моем воображении картины, одни страшнее других, увлекало мои мысли в царство фантазий и в тоже время манило своей таинственностью и опасностью. Через несколько часов я выехал уже с контрабандистом, явившимся за мной из пограничной деревни.

Взошла луна. Мы были уже вблизи границы. Оставив меня в поле, контрабандист пошел осматривать путь. Я лежал на дне повозки и при каждом шорохе, дуновении ветерка воображал, что идет стража меня арестовать: тихонько подымал голову и смотрел по сторонам.

Контрабандист появился так же тихо, как и ушел, сел в повозку и погнал лошадей. Мы вкатили прямо к нему во двор. Меня он втолкнул в какой-то сарай на сено, шепнул, чтобы я не зажигал огня, а сам вновь исчез. Вдруг дверь скрипнула и кто-то шепнул: раздевайте сапоги и брюки. Я опешил. Раздеваться в мартовские сырые и холодные ночи!.. Значит придется переходить через речку вброд... Все же я инстинктивно повиновался приказанию и разделся. Минут пять я сидел раздетый, дрожа от холода, а потом вышел вслед за появившимся кон-

трабандистом. Я не шел, а перепрыгивал с ноги на ногу по садовой дорожке, грязной и холодной. Мы приблизились к реке.

—Спуск! сказали мне из темноты.

Но было уже поздно. Поскользнувшись, я скатился вниз прямо под ноги контрабандисту. Совершенно измазанный, я поднялся и попробовал ногой воду. Она была точно лед. Но он был уже там и быстро пересекал речку. Приходилось идти—точно иглы впились в тело, когда я погрузился по пояс в воду; но это то и толкало меня все вперед к австрийской границе. Достигнув противоположного берега, я пустился бежать вслед за контрабандистом в крестьянский двор, где и сел на грязноватую еще землю, чтобы одеть ботинки на грязные и мокрые еще ноги, а брюки на иззябшее тело и войти в теплую избу. Согревшись немного, я поехал на станцию железной дороги, где выпил одну за другой две рюмки спирта, пообчистился немного и, чувствуя, как по всему телу разливается тепло, сел в вагон.... Через трое суток добрался до Женевы. В этом городе эмигрантов я прожил месяц, присматриваясь к жизни общественно-революционной и личной вожakov партий, знакомясь с вопросами, недоступными революционеру в России, посещая собрания, рефераты и лекции.

Обратный путь был также удачен: я перешел границу в другом уже месте с чемоданом «Студента», распространил его в Киеве, Одессе, Харькове и Екатеринославе и вернулся обратно в Женеву за остальными номерами. Захватив помимо этого еще эсеровскую литературу, я направился вторично к границе. Уже в Вене, после отправки части литературы багажом, я остался при одной короне (40 к.), которую я хранил пуще ока для уплаты в Львове носильщику, без которого я не смог бы

снести всех пачек, корзины и чемодана. Тридцать часов я ничего не ел. В горле пересохло, губы потрескались. Вид у меня был «анархистский»: длинные растрепанные волосы, старая помятая шляпа, грязная, ботинки нечищенные, костюм старенький, поношенный, руки немытые, глаза воспаленные. На одной из станций вблизи Львова в вагон вошел австрийский жандарм, который сразу обратил на меня внимание. Я только что проснулся, лицо было помято. Он сел против, внимательно меня осмотрел и спросил, кто я, откуда и куда еду. Вежливо я задал ему вопрос: имеет ли он право меня расспрашивать.

— Имею, — ответил он довольно нелюбезно. Я — жандарм и спрашиваю вас потому, что вы кажетесь мне подозрительным. Недавно я задержал здесь одного русского «анархиста». Может быть и вы из той же компании?

Я хотел было ответить ему «по-русски». Но этому мешали те пачки с литературой, которые лежали над моей головой. Что, если он спросит, чьи это пачки и что в них? Ведь арестуют... А если задержат для выяснения личности, то как мне быть: взять ли пачки, или оставить здесь?

Ко всему этому вагон был довольно таки пуст и не трудно было узнать, кому принадлежат все вещи. И я решил победить его «именем императора».

— Если вы имеете право, начал я, то извольте, скажу. (В это время зашел кондуктор-русин). Я студент императорского института. Путешествую по Европе. Теперь еду в Лемберг к знакомым.

— У вас есть заграничный паспорт?

— Есть. Но я оставил его в Берне со всеми вещами, так как из Лемберга я через день еду обратно в Берн, чтобы отправиться в дальнейшее путешествие...

Не давая ему вмешиваться в мой рассказ, я вытащил из кармана все мои аттестаты, развернул один из них, писанный золотыми буквами и громко начал читать: Императорский технологический институт Александра II... По указу его императорского величества...

Тут вмешался кондуктор-русин, который «объяснил» мне, что жандарм ничего не понимает.

— К сожалению, заметил я, не могу помочь беде — плохо владею немецким языком. Переведите ему. Вы русин, я малоросс, и как-нибудь вам растолкую.

Кондуктор понял весь мой рассказ, даже сам прочитал магические слова «по указу его императорского величества» и перевел все жандарму. Но тот опять спросил, имею ли я заграничный паспорт.

— Я ведь сказал, что забыл его в Берне. Да и зачем он, если у меня так много других документов, пояснил я ломанным немецким языком.

— А деньги у вас есть?

— Но ведь этот вопрос к определению моей личности не относится...

— А! не относится. На следующей большой станции я вас задержу и представлю комиссару.

— Это вы можете сделать, я этого не боюсь нисколько. А денег у меня нет.

— Как же вы путешествуете?

— В Лемберге возьму у знакомых, а по приезде в Берн по-лучу из России.

Я вынул кошелек и показал его ему. Он бесцеремонно по-рылся в нем, нащупал крону, выразил сожаление, что у меня так мало денег и растянулся на скамейке. Скоро мы подъехали к «большой станции». Жандарм поднялся и, ничего не сказав, вышел из вагона. Мы поехали дальше. Вошел кондуктор.

— Разве вы не поняли, чего пристал к вам жандарм? Хотел получить «на чай».

— За что?

— Ни за что. Заметил русского, да еще плохо одетого и вздумал припугнуть. Если бы у вас были деньги, он бы сам взял из кошелька. Я его знаю... Не будь у вас документов, вы были бы арестованы... И хорошо еще, что вот этого он не заметил.

И кондуктор ткнул пальцем в литературу.

— Не миновать бы вам австрийской тюрьмы...

Скоро мы подъехали к Лембергу. Сдав все вещи на хранение, я отправился по данному мне в Женеве адресу. Поздоровавшись и узнав, что это тот, адрес которого у меня имелся, я попросил крону.

— Вы не удивляйтесь, что я так стремительно начал с де-нег. Через час все узнаете.

Получив просимое, я вышел и в первом кабачке закусил. Ел с большим аппетитом. К новым знакомым пошел, не спеша.

— Вы, без сомнения, удивились моему поступку. Но, по-нимаете, я больше 30 часов ничего не ел и не пил.

— Мы вас накормили бы... Почему не сказали?

— Я не мог ждать. А около вас я заметил кабачок. Там быстро подают...

— У вас ужасно подозрительный вид. Будь я жандармом, непременно бы вас арестовал.

Я расхохотался и рассказал о приключении в вагоне.

— И прав! Приведите себя в порядок...

Наследующий день я отправился к границе. Приехав в местечко С. ночью, я был встречен контрабандистом, рекомендованным мне социалистами-революционерами. Пачки с литературой были отданы его помощнику. Утром мне заявили, что сейчас переход через границу невозможен, а ждать в С. опасно. Я переехал в Ч. Через день после моего отъезда из С. явился ко мне помощник контрабандиста со скорбной повестью, будто он сдал литературу на хранение другому лицу, а сей последний теперь не хочет возвращать и грозит продать ее русским жандармам, если не дадут выкупа. Нисколько не веря рассказу, я все же дал деньги и к вечеру мне привезли лишь половину всей литературы. Прождав еще два дня, я отправился в С. прямо к главному контрабандисту. Завидя меня, он закричал, что я его гублю, что помощник и так грозит донести на него, что он ищет лишь предлог и т. д. и предложил мне убираться. Я не знал, что делать. Часть книг, по-видимому, пропала. Нужно было бы спасти другую часть, которая осталась в Ч. Но у меня было ровно столько денег, сколько надо для уплаты за переход. Я решил перейти на русскую сторону и переговорить с русскими контрабандистами, так как книги в Ч. могли храниться до приезда кого-либо с условным письмом. Найдя своего знакомого контрабандиста и отдав ему все имевшиеся у меня деньги, я вечером выехал в другое село, где пробыл до утра. Утром

за мной пришли, но узнавши, что я без денег, отказались взять с собой.

— Да ведь я в С. уплатил за переход! закричал я.

— Ничего не знаю. Не заплатите сейчас, не возьму... Уйду...

— Ну и идите!.. У меня денег нет. Я уже уплатил.

Но тут вмешалась хозяйка дома, где я ночевал.

— Ради Бога, возьмите его! Могут ко мне зайти, увидят его. Что я скажу? Кто он? Откуда? Ради Бога, заберите его! Еще в остроп попаду. Он вам на той стороне заплатит...

— Ну хорошо, сказал я, в городе уплачу. В первый раз у меня тоже не было денег, меня отвезли в город и там я расплатился, взяв деньги у товарищей. Хотите? Ведь все равно вам возвращаться обратно. Одному ли, вдвоем ли, не все ли равно? Хотите? Ну?...

Контрабандист подумал, почесал затылок и, наконец, согласился.

Мы отошли от хаты несколько сот шагов и начали переправляться через речку вброд, раздевшись наполовину. На том берегу не спеша, оделись, поднялись на крутой берег, прошли мимо постового солдата и зашли в крестьянскую избу. Это было часов в шесть утра.

— Кум, а кум! Вставай, отвези паныча в город.

— А? Что? в город?...

— Ага, попались!.. Стой, ни с места! раздался вдруг чей-то громовый голос. Выходи во двор! где спирт? Говори!..

Я ничего не соображал. Посмотрев на кричавшего, понял, что это был пограничный стражник. Но при чем тут спирт? Стражник обыскал всю комнату, но ничего не нашел.

— Спрятали!.. Ну, найдем! Не спрячешь!..

Выйдя во двор, он выстрелил в воздух из револьвера; тут же стоял солдат-татарин, минут пять тому назад пропустивший нас. Он тоже неистово палил в воздух из ружья.

— Идем! На кордон!.. А-а!.. Водку переносить! Я тебе покажу, как австрийскую водку таскать сюда для продажи! Я видел, как ты отправился на ту сторону и сразу сообразил, зачем ты идешь. Два часа я лежал на этом берегу под кустом и ждал тебя. Я тебе покажу, как спирт таскать! закричал он и ударил контрабандиста ручкой револьвера. — И тебе достанется!.. Он хотел и меня ударить, но я быстро повернулся к нему лицом, поднял свою туристскую палку и крикнул:

— Не смеее! Драться не смеее!..

Мне казалось, что если дать отпор сейчас же и в самой резкой форме, так чтобы он опешил и растерялся, то гроза пройдет. И я не ошибся.

— Что? Заревел он. Не смею!

— Да, не смеее! еще громче гаркнул я. Вы можете только арестовать, но не бить!..

— Что? Вот я тебе покажу!..

— Я тебя как «тыкну», так ты и своих не узнаешь! крикнул я и поднял угрожающе палку.

— Иди, иди! а не то!..

Я понял, что опасность прошла, ибо он был в недоумении. С одной стороны — по костюму похож на жулика, с другой —

такой тон. Он злобно меня осматривал, все время ворча. Но я уже не обращал внимания на его ворчанье, занятый мыслью, как отделаться от имевшихся у меня прокламаций и нелегальных карточек. Выбросить их из кармана незаметно для стражника невозможно было — он шел позади. Волей-неволей приходилось ждать.

Мы пришли на кордон рано. Начальник пограничной стражи еще спал. Меня стерег лишь один солдат. Когда он вышел, чтобы принести, по моей просьбе, воды, я быстро выхватил из кармана всю пачку и швырнул ее далеко на высокий шкаф. В кармане остались лишь фотографические карточки.

Арестовавший меня стражник успел рассказать всем о поимке, и один солдат с довольно симпатичным лицом вошел в комнату, улыбаясь.

— Чего вы улыбаетесь? спросил я.

— Стражник сердит на вас. Проходимец какой то, говорит, а еще хорохорится — не смеешь, кричит... Я и пришел посмотреть на вас.

Зашел и стражник.

— Теперь я знаю, кто вы!.. Вы — иностранный агент, как Дрейфус. Границу срисовывали, местоположение осматривали. Вот вам и достанется!..

И он ножами шашки пытался ткнуть в меня, но я схватил за конец и рванул.

— А! Сопrotивляться!.. Вот придет начальник и он с тобой поговорит.

— Вот я спрошу твоего начальника, имеешь ли ты право драться и ругаться. Посмотрим еще, кому достанется.

Взбешенный стражник ушел из комнаты. Поговорив немало с солдатом, я попросился выйти. Там я уничтожил все карточки и вернулся совершенно спокойный.

Слух о пойманном «протестанте» достиг до жены начальника стражи. Вошел денщик:

- Госпожа начальница спрашивает, не желаете ли чаю.
- С удовольствием, ответил я.

Выпив два стакана чаю и закусив хлебом с маслом, я закурил махорку, взятую у солдата, и приготовился к допросу. Скоро явился и начальник. Он был очень вежлив со мной, внес в протокол заявление о грубом обращении стражника, сделал ему выговор, накормил меня солдатскими щами и отправил на Гуковскую таможду.

Мы прошли 12 верст в три часа. Начальника таможди не было и пришлось ждать до 12 часов ночи. За это время я успел познакомиться с дочерью какого-то таможенного чиновника, студенткой медицинских курсов в Петербурге, которая выступила в мою защиту против чиновника-отца, обвинявшего меня в неповиновении существующим законам.

— И чего вам стоило взять заграничный паспорт? Не пришлось бы мытарствовать. Так нет же! Дух неповиновения так велик, что предпочитают подвергаться опасности — пилил чиновник.

— А чем плохо так? спросила дочь. По крайней мере интересно... Ночь... река... жутко немного, но зато потом приятная победа. Я бы тоже хотела испытать это состояние.

- Вы любите сильные ощущения?
- Немного... Чай будете пить?
- Охотно...

Вечером явился на эту таможенную помощник контрабандиста из С., расположенного как раз против Гукова, и вступил со мною в продолжительную беседу. Он доказывал мне, что я в его руках. Стоит ему лишь сказать начальнику, что у него моя «литература», и дело примет совершенно другой оборот.

— Дайте пять рублей и дело с концом.

— Если вы такой гусь, что готовы продать человека за деньги, то где гарантия, что, получив выкуп, вы все же не донесете на меня?

— Клянусь вам жизнью детей, что я честный человек, заговорил он быстро. Я не поступил бы так с вашими книгами, но меня сильно притесняют. И «главный», и тот, который вас отправил нынче ночью, захватили всех в свои руки. Работаешь на них, работаешь, а ничего не получаешь...

— Чем же я виноват?

— Вы не виноваты. Но не думайте, что я способен на нехороший поступок. У меня теперь жена и дети голодают. Дайте пять рублей.

— У меня денег совершенно нет. Стражник меня обыскал и знает. Можете у него спросить. Но если бы у меня и было, я не дал бы — не верю вам.

Долго длился разговор на тему о выкупе. Я не знал, как быть. Он мог донести, не получив денег, мог донести после полочки.

— У вас нет денег, дайте часы. Я их продам рубля за три и то довольно.

— Часы! Дал бы я вам, но не доверяю.

Тут посыпался целый град клятв по-русски, по-немецки, что он меня век будет помнить, что он сейчас же исчезнет и т.

д. Я рискнул — снял часы и отдал. Лишь только он их получил, как пустился бежать со всех ног. В несколько минут он был уже в С. Опасность миновала.

В два часа ночи меня отправили в ближайшее село к сельскому старосте. Здесь я подложил под голову пиджак и растянулся на лавке.

— Стерегите его. Это опасный человек, сказал пред уходом стражник.

— Иди, иди, мы за него отвечаем, — возразил староста.

Рано утром в сопровождении двух сотских отправили меня к становому приставу. Отсюда часа через два — в следующее село. К пяти часам я пришел туда и заночевал, так как не было писаря, который бы распорядился о дальнейшей отправке. Всю ночь дрожал от холода в совершенно сырой «каталажке», несмотря на то, что все время шагал из угла в угол. Утомленный бессонницей и голодом, я рано утром вновь отправился в путь. Дорогой разговорился с сотским, произнес целую речь против правительства, которую он молча выслушал, отдохнули под плетнем, закусили хлебом с водой и луком, которыми запасся мой провожатый, и к полудню прибыли в город, в уездную полицию. Сотский рассказал здесь своему знакомому городовому о «студенте». Подходит он ко мне и спрашивает, нет ли у меня здесь знакомых...

— Студента Б. знаете?

— Знаю я или не знаю, все равно. Передайте ему (Б. был мой знакомый).

В городе все узнали о моем аресте и засуетились. Заявились к столоначальнику, сунули ему взятку, довольно солид-

ную, и ровно через сутки я получил проходное свидетельство для проезда в Харьков.

Глава X

В январе 1904 года по поручению Екатеринославского и Харьковского Комитетов партии социалистов-революционеров я поехал за границу за литературой, имея при себе настоящий паспорт потомственного дворянина, прапорщика запаса, речь Ф.Фрумкиной на суде по поводу покушения ее на жандармского генерала Новицкого, манифест и резолюции третьего общестуденческого съезда, программу его и краткие протоколы. С таким багажом приехал я в Граево утром, а вечером выехал к границе вместе с восемнадцатью евреями «американцами» (эмигрантами). Часа через два мы остановились посреди поля, а наш проводник отправился разыскивать тот пост, через который нам предстояло перейти. Ночь была темная, дорога скользкая. Душно сделалось в крытой колыме, набитой столькими людьми, и я вылез на свежий воздух. Разговорился с возницей.

— Часто ловят «американцев»?

— Бывает... Постойте кто-то идет...

И он направился прямо на фигуру... Это ты, Станислав, раздалось в тиши.

— Кто говорит? Кто такие?

— Господин вахмистр, я вам дам десять рублей только отпустите... Пятнадцать...

— Попались молодцы! Ни с места! Стрелять буду...

Пока мы стояли в ожидании возвращения проводника, вахмистр пограничной стражи, шедший на кордон, наткнулся на наш воз. Я стоял поодаль. Думал было бежать. Но не знал, в какую сторону, не был знаком с местностью. Пока я раздумыв-

вал, что делать, кто-то из «американцев» крикнул: Эй-вы! Чего стоите, садитесь скорее...

— Садитесь все, крикнул вахмистр. Кто попытается бежать, того убью на месте.

Бежать было уже поздно. Я сел на козлы, а возница повел лошадей под уздцы в гору под несмолкаемый грохот выстрелов вахмистра. В ответ раздались ружейные залпы на ближайших постах, на кордоне появились люди с факелами, двигавшиеся вниз, с горы, по направлению к нам. Жутко сделалось в этом адском шуме, под окрики солдат, освещавших все шествие, под непрерывное «вье-вье» возницы. Наконец и лошади стали. Солдаты начали беспощадно бить лошадей, вахмистр — ругать меня, кучера, а «американцы» — возницу, которого они считали виновником неудачи.

— Вы не смеете ругаться. Я дворянин и не позволю! крикнул я исключительно с целью рассеять панику среди эмигрантов.

— Дворянин?.. Какой-токой дворянин?.. Как в такую компанию попал дворянин?..

— После разберем, но без ругани...

Мой окрик подействовал. Вахмистр успокоился, солдаты тоже, и мы взобрались без их помощи на гору. Тут я вспомнил о моем «багаже». Но выбросить его было опасно, хотя и возможно. Если бы он был найден, то пришлось бы сказать, кто его владелец. Помня первую свою удачу, я решил попытаться вторично отделаться таким же путем от моих бумаг.

Нас загнали всех в спальню солдат, и оттуда вызывали поочередно для обыска. Не медля, я попросил несколько человек заслонить меня от сторожившего нас солдата, вынул все из

кармана, положил солдату под матрац и пошел в следующую комнату. Вахмистр осмотрел мой паспорт и сказал:

— Верно, дворянин. Как же вы попали в жидовскую компанию? Не лучше ли ехать прямо, с паспортом, а не тайком?

— Лучше. Только я не мог ждать. Чтобы получить заграничный паспорт, нужно было дней десять, а я должен к сроку приехать на должность в Лондон. Я и поехал с «американцами».

— Вы чем занимаетесь?

— Я чертежник.

— Нехорошо все-таки... Вы ведь прапорщик запаса. Вдвойне нехорошо.

— Нужда заставила. Не по доброй воле...

Все это я как-то сразу придумал в тот самый момент, когда направлялся на обыск. По окончании этой процедуры нас всех перевели в другую комнату, где мы разлеглись на соломе.

Утром начался допрос в той самой комнате, где производился обыск. Всех опрошенных помещали в спальне. Этим я воспользовался, чтобы вынуть из-под матраца мои бумаги — слишком ценны были эти документы, чтобы не попытаться спасти их.

Днем нас всех отправил и на ближайшую таможню, где вахмистр, между прочим, рассказал офицеру — жандарму о дворянине среди эмигрантов. Услышавши фамилию, он поинтересовался посмотреть на меня, так как знал «моего брата».

— Да похож, сказал он. Очень похож. Удивительно, как такой благородный человек пускается в такой путь... Молодость, Молодость!..

Отсюда нас отправили на Граевскую таможеню, где мы просидели до вечера, а на ночь нас заперли в «каталажке» при тминном управлении, до того тесной, что всю ночь восемь человек простояли у дверей.

Наконец настало утро. Нас вызвали в управление, чтобы отправить в Щучино к исправнику, и при этом вторично всех обыскивали. На мне была высокая барашковая шапка; ее я снял с головы, положил туда бумаги, оставил шапку на столе, а сам вылез вперед к писарю. После обыска я вновь запрятал все в карман, уверенный, что удастся сохранить рукописи в целости.

Пока мы ехали, нас учили, как отвечать исправнику, который уже был подкуплен. Главное, нужно было настаивать, что мы ехали в Августово, но заблудились и остановились в поле.

— Зачем же вы ехали в Августово? спросил исправник.

Я агент нефтепромышленной акционерной компании, которая открывает в Белостоке склад керосина. Желая рассчитать приблизительное количество его для всего района, общество это отправляет агентов во все города, местечки, села, где имеются магазины и лавки, чтобы гарантировать себе покупателей. С этой целью я ехал в Августово, но заблудился...

Через час после этого «объяснения» я был вызван в канцелярию исправника, где находился какой-то полицейский офицер.

— Вот вам проходное свидетельство. В течение пяти дней вы должны быть в Киеве.

— Пять дней мало. Мне надо десять, чтобы устроить здесь все дела, — ответил я.

— Хорошо... Пусть десять. Но раньше распишитесь здесь.

Он дал мне простой клочок бумаги и стал позади меня. Посмотрев на другой конец стола, я увидел мой паспорт. Офицер смотрел на подпись его владельца. Я понял, что он меня подозревает, но поймать не сможет, ибо подпись я изучил превосходно, раньше чем отправился в путь. Моим росчерком он, по-видимому, остался доволен, ибо я был сейчас же освобожден. Через час была выпущена еще одна часть арестованных и в ту же ночь мы перешли прусскую границу.

Глава XI

Недели через две я был уже в Е., где первое время был совершенно «чист». Но после ареста товарища, организатора рабочих кружков, пришлось заменить его и посещать те квартиры, которые были уже выслежены. В первый раз я заметил за собой подозрительную личность, неизвестно откуда появившуюся. Чтобы «замести следы», я направился на ярко освещенную улицу и вскочил на заднюю площадку трамвая. Сыщик — на переднюю, поворачиваясь ко мне лицом на всех остановках. Избежать преследования возможно было лишь в том случае, если спрыгнуть с трамвая на полном его ходу. Выбрав удобный момент, я прыгнул с площадки, успел взобраться на встречный трамвай и обернулся лицом в сторону шпиона. Он смотрел на меня «во все глаза». Такая открытая погоня за мной должна была привести к аресту, и я поспешил выбраться из города. Но скоро получил письмо с просьбой приехать. Я решил рискнуть. Авось вывезет. Но это русское «авось» не вывезло — я попал в тюрьму.

В течение первой недели моего вторичного пребывания в Е. я ничего за собой не замечал. Но в день ареста слишком открыто и цинично меня травили, чтобы не понять, что час мой пробил. Выйдя днем из квартиры и повернув глаза вправо и влево, я заметил двух шпииков, немедленно за мной следовавших во всю прыть. Я решил их помучить. Заходил в магазины, аптекарские склады, отправился на базар, побывал у доктора, где сидел около часу. Выйдя от него, сейчас же заметил выскочившего из-за угла шпиона. Я остановился, как будто читая приписанный мне доктором рецепт. Он же должен был пройти мимо меня. Тогда я вздумал сесть на трамвай. Но,

повернув за угол, наткнулся сразу на троих, слишком открыто меня осматривавших. Я замедлил шаги и так же открыто, в упор, осмотрел их физиономии. Не знаю, эта ли моя «смелость», или что-либо другое, но они не пошли за мной; я беспрепятственно уехал первым же трамваем.

В этот же день под вечер необходимо было переправиться через реку на рабочее собрание. Не успел я дойти до угла, как заметил трех «знакомцев». На меня они уж не смотрели и не трогались с места. Совершенно спокойный, я уехал, невдалеке от прохода к реке вылез из вагона и осмотрелся. Каково же было мое изумление, когда шагах в пятнадцати от меня увидел на скамейке одного из тех троих! Я несколько минут простоял в раздумьи над вопросом: как же он здесь очутился? Ларчик просто открывался: он приехал следующим трамваем, расстояние которого от переднего ничтожно, слез одновременно со мной, забежал в сквер и сел, как ни в чем не бывало. На этот раз я спасся проходным двором. Придя домой, я рассказал обо всем происшедшем и хотел немедленно исчезнуть.

— Нет, вы не уезжайте. Неужели вы думаете, что сегодня непременно вас арестуют?

— Уверен... Если бы вы видали, как нахально они за мной бегали...

— Утром лучше решим, как уехать. Эту ночь не опасно. Комнату мы «почистили», ничего нелегального. Да к тому же денег нет...

Пришлось оставаться, приготовившись к аресту: положил около себя на столике все адреса, шифрованные явки и разные мелкие записки. Часа в три ночи раздался звонок. Пока открывали дверь, я успел разжевать все бумажки, но не мог их про-

глотить. Я кинулся к кувшину с водой и начал нервно пить большими глотками довольно грязную воду. С трудом их проглотил... Стучали в дверь. Как только я ее открыл, две руки очутились в моих карманах.

— Ничего нет...

Боялись вооруженного сопротивления...

Через неделю после моего ареста в тюрьме праздновали 1-е мая. Правда, празднование было довольно неудачное — «Варшавянку» пели, кто в лес, кто по дрова, красное знамя сейчас же сняли штыком, но последствия этой попытки были плачевны. Все заключенные были лишены права свиданий, переписок, выписок, права пользоваться пищей из «политического котла» сроком на один месяц и кроме того у всех отобрали матрацы и столы на три дня. Мы ответили на эти репрессии постановлением ложиться или садиться, когда явится начальство, впредь до отмены всех наказаний. Первые несколько дней все отказались есть общеуголовный обед, но, предвидя возможность голодовки, решили не истощать себя. Нас было двое, не пожелавших повиноваться общему постановлению и отказавшихся принимать уголовную пищу, всякую же другую ели. Началась борьба между начальником тюрьмы и нами. Он хотел заставить нас покориться и с этой целью старался не допустить в камеру ничего кроме уголовной пищи. Дверь не открывалась, около окна взад и вперед ходил часовой, уголовные не подпускались близко, во время прогулки часовой зорко следил, чтобы никто ничего не передавал. С своей стороны, мы прибегали к всевозможным уловкам, чтобы получить пищу —

часто ходили к врачу, в приемной которого нас встречали уголовные и передавали якобы выписанные для себя продукты, иной раз удавалось передать в окно, иной раз, завернув в бумагу, клали продукты даже в парашу. В общем, как мы ни ухитрялись, количество было слишком недостаточно, и мы жили впроголодь. Последние же восемь дней у нас на человека был всего один паек хлеба. Разделив его на восемь частей, мы каждый день съедали по куску и запивали чаем то с сахаром, то без сахара. Так продолжалось тридцать дней. Тридцать дней мы почти не ели, но не объявляли и голодовки, думая, что месячный срок наказания кончится и жизнь войдет в нормальную колею. Но за наше демонстративное лежанье и сиденье, когда появлялось начальство, а оно с целью начало являться часто — то начальник тюрьмы, то тюремный инспектор, то прокурор палаты, — нам продлили срок наказания еще на месяц и после каждого посещения сажали в карцер темный или светлый на трое, пять и семеро суток, лишая каждый раз постели, стола и стула.

Во время одной из прогулок — гуляли попарно, камерами — часовой ударил слегка одного рабочего. Подняли крик, шум, потребовали начальника тюрьмы и смены часового. Я был вызван в контору для объяснений. Волнуясь, я начал рассказывать о возмутительном поступке солдата, но начальник тюрьмы (мы его звали драконом) вдруг перебил меня:

— Что вы рассказываете? Ничего подобного не было...

— Как не было? Да из-за чего же весь сыр-бор загорелся?

— Ничего не было.., Мне мои служители уже доложили обо всем инциденте. Он лишь хотел ударить и имел право, так как ваш товарищ не слушал его приказаний...

— Что за наглость!.. Если вы верите своим служителям, то незачем было меня звать!..

— Не смей кричать! Вы в кабинете начальника!.. — Что?!..

И я сделал несколько шагов по направлению к нему, подняв руку, но был остановлен помощником начальника и появившимися надзирателями...

— Какая подлость!, крикнул я и ушел. Во время проверки мне передали постановление начальника о заключении меня на пять суток в карцер за дерзкое обращение с ним во время исполнения обязанностей. Это было в последние дни первого месяца, когда он решил изолировать нашу камеру и взять нас голодом.

Нервное напряжение достигало кульминационной точки, но все же еще не решались на крайнюю меру — голодовку. А начальство все время ее провоцировало.

Зайдя раз в одну камеру, он увидел на стене дракона, изо рта которого вылетало пламя с надписью «три дня карцера». Художники поплатились за это семью днями темного карцера.

В другой раз он спрятался в пустой камере и подслушал разговор и речи заключенных. На другой день он посадил «оратора» «за призыв к неповиновению администрации» на семь суток в темный карцер.

Готовясь к решительной битве, мы не препятствовали заключению в карцер и не протестовали, что не мало удивляло всю тюремную администрацию.

Быть может вся эта история ничем бы не кончилась, если бы не невыносимое отношение к целой группе рабочих, арестованных после всеобщей южной стачки 1903 г. и содержащихся на положении уголовных.

Несмотря на то, что эти рабочие были произвольно выхвачены полицией из массы забастовщиков, они оказались достойными имени революционеров. С первых же дней тюремной жизни они повели борьбу с администрацией. Прежде всего не признавали себя уголовными и требовали к себе отношения, как к политическим, которые ценой многих жизней и больших страданий завоевали себе более или менее сносное существование в тюрьмах и не слишком грубое к себе отношение⁵ «власть имущих». По выработанной тюремной дисциплине коридорный надзиратель обязан был командовать: «Смирно! Встать на поверку» или просто: «встать!» при появлении «начальства». Политические были «лишены» этой «льготы», к этому же стремились и забастовщики путем всевозможных демонстраций. При команде «смирно, встать!» все садились или ложились. Тогда начальник командовал: «поднять» Несколько надзирателей бросались к первому сидящему, брали его под мышки и подымали. Тот вставал.

— Другого, командовал начальник.

Они оставляли первого и таким же путем подымали второго.

Третьего!..

Они бросались к третьему, а в это время первые двое садились.

5 Современная тюрьма существенно отличается от тюрьмы 1903-04 годов. Все льготы уничтожены и тюремная администрация стремится не без успеха уравнять в правах уголовных и политических.

Так продолжалось некоторое время. Лишенные всего — чаю, сахару, белого хлеба, табаку, свиданий, переписок и т. д., они все же не «смиряться» и не покорялись. Тогда они были отправлены в исправительное арестантское отделение, где были посажены в железную клетку. В первый же вечер за отказ подчиниться команде «встать» на несколько человек были надеты смирительные рубахи. Утром следующего дня за отказ снять шапки при встрече со старшим надзирателем один был посажен в глубокий, сырой колодец.

Смирительная рубаха, употребляемая в «арестантских ротах», представляет собой длинную до пят и широкую рубаху с семиаршинными рукавами, которыми зашнуровывают несчастного, как грудного ребенка, но с такой силой и жестокостью, что кровообращение приостанавливается. Один из рабочих, испытавших на себе это орудие пытки, рассказывал, что самый сильный человек не может выдержать такого пленения больше двух часов. Связанного бросают в карцер, куда часто заходит надзиратель справляться, жив ли еще пленник. Один из забастовщиков после 12-часового лежания впал в обморочное состояние. Его окатили ведром холодной воды и оставили в том же положении. Другой же, не будучи в состоянии терпеть, пытался разmozжить себе голову о стену, но был отодвигаем от нее каждый раз, когда связанный доползал туда путем невероятных усилий.

Наконец, они объявили голодовку. Их перевели обратно в тюрьму, где борьба продолжалась. В конце девятого месяца борьбы они очутились в сыром, грязном и холодном подвале без кроватей, без матрацев и подушек, без столов и без всяких продуктов. Это заставило соединиться всех — и уголовно-политических (забастовщики) и политических для солидарных

действий: была объявлена голодовка, длившаяся восемь дней. Мы требовали восстановления прежнего режима или перевода в другие тюрьмы.

Нас, четырех интеллигентов «зачинщиков» и четырех самых боевых рабочих, перевели из тюрьмы в участок, а потом в исправительное арестантское отделение, где разыгрался грандиозный скандал во время нашего приема.

— Шапки долой! крикнул начальник, войдя в контору.

— Убирайся вон! ответил один из товарищей.

— В карцер их! Поднять их..

Мы все двинулись прямо на него, а один с сжатыми кулаками полез вперед.

— Конвой! окружить их! гаркнул побледневший начальник.

— Это подло!.. Не таких видали.. Не сломаете... раздалось со всех сторон...

— Я объявляю голодовку! произнес один.

— Как хотите... ответил начальник и выскочил из конторы. Больше мы его не видали.

Как только он удрал, все успокоились. Нас посадили, однако, в железную клетку. Из солидарности мы присоединились к голодовке товарища.

В двенадцать часов принесли обед — щи и кашу.

— Ведь мы же вам заявили, что есть не будем. Зачем принесли? И с этими словами и щи, и каша очутились с треском на полу.

— Принесете в другой раз, в голову полетит.

— Мы не виноваты. Нам приказано ответил старший надзиратель.

— Передайте, кому знаете, чтобы нас перевели в другую камеру. Здесь мы сидеть не будем...

Вечером нас перевели в громадную, светлую камеру. Но голодовка продолжалась шесть дней. И так как начальник к нам ни разу не являлся, а обращение было очень вежливое и предупредительное, то мы ее прекратили.

Через две недели нам объявили о высылке нас в Польшу.

Мы прошли тюрьмы — Кременчугскую, Киевскую, Варшавскую пересыльную, Ново-Георгиевскую крепость, Пл-ую и прибыли почти через месяц в город П. Каждую нашу остановку мы ознаменовывали каким-либо протестом. Особенно резки и успешны были протесты в Киеве и Пл-Е.

Лукьяновская тюрьма один из редких экземпляров среди всех российских тюрем (за исключением сибирских). Картежная игра, пьянство, воровство и противоестественный разврат процветают здесь во всю. Я был свидетелем, как из ткацкой мастерской передали, привязав к спущенной веревке, громадный кусок полотна на верхний этаж. Часовой доложил об этом в контору. Немедленно отправились с обыском и не нашли. Я видел там же уголовного, который проглотил восемь золотых десятирублевков, чтобы не отдавать их в контору, а потом проиграл их в карты, вынудив из своих эксcrementов. Я видел там целую группу пересыльных, которые регулярно попадают в тюрьму каждый месяц специально для игры в карты. Их высылают на родину, они приезжают обратно, их арестовывают, отправляют в тюрьму, где они ждут этапа. За это время они обыгрывают всех пересыльных, принуждая их к игре, кто же

отказывается, у того пропадают все вещи, и никакие поиски не помогают. За жалобы бьют смертным боем. Лишь «атаман» уголовных творит суд, и его постановления беспрекословно исполняются. Я видел одного на утренней прогулке в одних кальсонах, а на вечерней — в превосходном костюме, новом пальто, шляпе, лакированных ботинках, которые он «выиграл у жида». Я видел, как у политического украли пальто из камеры, и как по приказанию атамана оно было сейчас же найдено и возвращено по принадлежности, так как «политики» — «наши друзья». Я видел приготовленные в тюрьме серебряные рубли, один из которых мне предложили за двугривенный «на память о Лукьяновке».

Накануне этапа мы потребовали себе выписки пищевых продуктов на дорогу. Целый день ждали — не принесли. На вечерней поверке заявили дежурному помощнику начальника. Ждали до восьми, девяти — нет выписки. Решили вызвать начальника. Заявили раз, другой — не приходит. Решили заставить его прийти. Вытащили из-под нар оконную раму, разломали ее, вооружились кусками, достали палки и под стук и грохот палками в дверь и подоконник затащили «марсельезу. Прибежавшему помощнику заявили, чтобы пришел начальник.

— Хорошо, скажу, только прекратите концерт.

— Будем ждать десять минут, — ответили мы.

Десять минут прошли. Никто не явился. Протест возобновился с новой силой. Прибежал помощник.

— Начальник хочет узнать, чего вы требуете.

— Мы требуем начальника.

— Для чего?

— Не ваше дело... Зовите начальника. Уходите. Мы не прекратим, пока он не придет.

Все заключенные с интересом следили за нашей тактикой и за ее исходом. Они не верили, чтобы начальник удовлетворил наше требование — сделать выписку в 10 часов ночи.

Мы продолжали петь и стучать.

— Начальника! Начальника сюда! Мы требуем начальника!..

Почти в десять с половиной часов открылась дверь и влетел начальник.

— В карцер захотели! Вы забыли, должно быть, где вы находитесь, крикнул он, держа руки в карманах, где у него всегда лежали револьверы.

— Прежде всего не кричите. Вы не в кабак...

Он не ожидал такого ответа и сейчас же смягчил тон.

— В чем дело?

— Еще утром мы сделали выписку и до сих пор ее не принесли. Завтра мы уходим в этап. без пищи не пойдем. Если не хотите утром скандала, распорядитесь, чтобы нам принесли все необходимое по нашей записке.

— Что? В одиннадцать часов? Вы не в гостинице!..

— Мы с утра заявили!.. Если выписки не будет, завтра никого не впустим в камеру и сами не выйдем.

— Посмотрим?

— В таком случае вон отсюда...

— Да вы не горячитесь, пожалуйста. Куда вас высылают?

Мы ему разъяснили, что нам предстоит далекий путь, что сегодня мы целый день не ели из-за неаккуратности заведующих выпиской, что право на нашей стороне и т. д.

В одиннадцать с половиною часов наше требование было удовлетворено.

Последнее столкновение с тюремным начальством произошло в Пл-ской тюрьме, куда мы прибыли после 36-ти верстного перехода, во время приема этапа. Когда вызвали пишущего эти строки, ему предложили снять шапку.

— Что? Шапку? Это еще на каком основании, спросил я.

— Вы стоите перед начальником.

Ответом на это замечание был мой искренний смех, взбесивший тюремщиков.

— Я вас в карцер отправлю! крикнул побагровевший начальник.

-- Силой только вам это удастся сделать.

— И меня тогда вдруг раздался голос. Это отозвался один из четырех «зачинщиков».

— С вами не разговаривают, вы и не вмешивайтесь.

— Его дело — мое дело.

— Молчать! крикнул уже старший надзиратель. Еще разговаривает «пся крэвь»...

— Ах ты подлец! крикнул, подступая к нему, товарищ.

Весь этап заволновался. К ним бросился я, за мной начальник, за ним польский рабочий, административно ссылаемый на родину. Еще минута и началась бы свалка.

— Конвой! Ружья на изготовку! окружить их!.. Мы были окружены конвоем, не знаящим, как быть. По правилам он не

имел права подчиняться команде начальника тюрьмы, а лишь команде своего унтер-офицера, который куда-то удалился. Его нерешительность и то, что отдельным солдатам понравился тот отпор, который расходившиеся тюремщики получили, спасли нас. Отведя нас в отдельные камеры, конвойные говорили:

— Ну и дурак же он! На изготовку. Да он не имеет права...

— А здорово вы его! сказал другой.

Как только миновала гроза, мы явились в контору писать жалобу на действия начальника.

— Вы можете писать. Это ваше право. Но и я также пишу жалобу на вас, — доложил нам смотритель тюрьмы. Вы не имели права отказываться снять шапку. Ведь вы идете с карточкой, на которой вы сняты без шапки. А сравнить вас с карточкой я мог, если бы вы были без шапки.

— Но тогда вы говорили другое, как начальник, — ответил я. А политические не снимают шапок, да будет вам известно.

— Вы хоть и политические, но арестанты, которые должны подчиняться дисциплине тюремной.

— Арестанты... Да! Но не забывайте, что вы пока только начальник, но не палача готовы уже были приказать в нас стрелять, — ответил ему товарищ.

Начальник даже побледнел от нанесенной ему обиды, но ничего не ответил. Утром следующего дня, уже без инцидентов, мы прибыли в П. Во время приема нас начальник этой тюрьмы сказал:

— Вы совсем не так страшны, как мне писали. Довольно мирны. Если бы вы знали, какие отзывы о вас имеются у меня!..

— Наше поведение зависит от того, как нас встречают и как к нам относятся.

И с первого же дня отношения эти были приличные, и наша жизнь мирно текла в четырех стенах одиночек.

Глава XII

Физиономия политической тюрьмы 1906 и последующих годов коренным образом разнится от тюрьмы предыдущих годов. Великая революционная стихия захватила в свой водоворот представителей всех общественных классов России, растворила в этой серой и расплывчатой массе революционных социалистов, кинула затем все это в тюрьмы, обесцветив вполне определенную в революционном отношении старую политическую тюрьму с ее традициями и отношением к начальству.

В начале 1906 года я увидел в тюрьме совершенно отличное от того, что видел раньше. Вся тюрьма разделилась на две части — буржуазную и пролетарскую. При чем последняя ненавидела первую и проявляла свою ненависть в таких действиях, как экспроприация пищевых продуктов.

Традиции старой общей тюрьмы завещали политическим арестованным уравнительный принцип пользования продуктами. Никто не должен получать больше другого, все получаемое идет в общую коммуну, выборные представители которой распределяют продукты.

Начиная с 1906 года под влиянием попавших в тюрьму буржуазных элементов, а затем и элементов «индивидуалистических», этот принцип постепенно сходит на нет.

В той тюрьме, где мне пришлось провести начало 1906 года все «буржуи» собрались в одной камере, жили припеваючи, чуть ли не вино пили и именины справляли. К ним в гости являлся начальник тюрьмы, с которым они были приятели. Естественно, что подобные отношения не нравились пролетариям и революционерам, отношения, марающие честь поли-

тической тюрьмы. К тому же между теми и другими не было даже товарищеских отношений: одни ненавидели других. И в итоге — «борьба классов», в тюрьме. Попытки обсуждения вопросов сообща приводили к скандалам, чуть ли не к побоищу. Несолитарность заключенных была так велика, что даже казнь товарища не могла их спаять и двинуть на общий протест. Я говорю о казни Ивана Пулихова.

После подтверждения приговора мы ждали его казни с часу на час. Наступила ночь... Во многих камерах выбрали часовых, которые должны были разбудить тюрьму, если бы Пулихова повели на казнь. Глубокой ночью прокрались палачи к нему в камеру и вывели его. Он крикнул: ведут на казнь!..

Загудела тюрьма. Ни один не спал...

У ворот он крикнул: прощайте товарищи!

— Палачи, убийцы! раздался истерический крик.

— Палачи подхватили другие, и вся тюрьма превратилась в ревущее море, сквозь стон которого был слышен плач.

Сквозь темноту ночи до нас долетал стук топора, чьи-то шаги и приказания.

— Сколачивают виселицу!, долетает голос.

— Где? Неужели при нем! Негодяи!

Всю ночь стояли у окон товарищи и немым взглядом осматривали ворота, сквозь которые он ушел в тот мир, откуда нет возврата.

Его повесили на входных воротах. Он умер в страшных мучениях.

Утром тюрьма дала знать товарищам на волю о казни, вывесив в окнах черные знамена.

Администрация тюрьмы потребовала убрать их, грозя репрессиями. Тюремные «буржуи» заволновались, начали убеждать других, что нужно исполнить приказание, что надо избежать репрессий, что висели знамена порядочно, что дело ведь не во времени и т. д. Они повели агитацию по всей тюрьме и подействовали на колеблющихся. Революционно настроенные элементы, не желая подвергать опасности избияния многих «сочувствующих», подчинились большинству.

После казни Пулихова объявили однодневную голодовку — протест. Но «буржуи» и этот протест превратили в формально-бездушную комедию — они никак не могли дожидаться вечера, когда уже «можно будет кушать». Еще днем они уже сговаривались с уголовным, чтобы он в такой-то час наставил самовар.

С каждым днем становилось все хуже: дразги, сплетни, озлобление росли. Тюрма превратилась в какой-то ад, который обрекал многих на нравственные страдания. Но скоро я был по недоразумению освобожден и довольно долгое время «не попадался».

Встречаясь довольно часто со всеми максималистскими работниками, бывая часто в разных районах на рабочих квартирах, сталкиваясь также и с боевиками, я в конце концов был выслежен, как ни остерегался. В Петербурге, где сыск поставлен лучше, чем где бы то ни было в провинции, где целые легионы сыщиков к услугам охранного отделения, располагающего велосипедистами, автомобилистами, извозчиками, неотступно едущими за жертвой; мужчинами и женщинами,

городовыми, швейцарами, дворниками, полотерами, проникающими в разные дома для слежки; горничными, лакеями, коридорными в гостиницах и ресторанах, — необходимо иметь гораздо более одной пары глаз, чтобы уследить за собой и не «притащить хвоста куда-либо, или чтобы не захватить его откуда-нибудь. В выслеживании жертв применяют всевозможные средства — моментальное фотографирование, внезапно окликают по старой кличке или фамилии. Очень опасна стационарная система, при которой преследуемого «передают» с места на место, так что трудно уследить за непрерывно меняющимися физиономиями шпионов.

Заметив раз слежку за квартирой одной из лучших работниц максималистской организации, я решил ее предупредить об этом. Проникнуть туда незамеченным было трудно, ибо четыре пары глаз смотрели за этим домом. И я сделал это без всяких предосторожностей. Вся трудность моего положения заключалась в том, чтобы потом уйти от «погони», отделаться от «хвоста». Я отправился кружным путем, бродил по многим улицам, заходил по разным личным делам, воспользовался проходным двором и думал, что исчез из виду шпионов. По крайней мере позади, ни спереди, ни с боков никого не видно было, ни извозчиков, ни «нищих»... Улица была пустынная. Я зашел тогда в переплетную мастерскую, где брошюровалось 22 тыс. наших книг. Когда я вторично туда явился, меня предупредили, что вчера расспрашивали у дворника, куда я заходил. Следовательно, я был выслежен, но как? Этого так и не удалось узнать.

Через несколько дней в одном из переулков Петербургской стороны я заметил следившего за мной шпиика, прятавшего все время свое лицо. В этой местности я не знал ни одного про-

ходного двора, приходилось идти в другую часть города. По дороге я увидел двух извозчиков — одного свободного, другого лишь освобожденного. Я сел на свободного и сказал громко, чтобы слышал и другой: «вези на Английский проспект». Шпион, запыхавшись, показался из-за угла и, увидя меня на извозчике удалявшимся, пустился бежать к другому извозчику.

При крутом повороте мне удалось заметить, что позади довольно далеко от меня, едет кто-то, но кто различить не мог.

— На Невский, извозчик! сказал я...

На Невском была такая давка, экипажей было так много, что они еле двигались. Я слез и быстро направился к одной конторе, имевшей ход на другую улицу через двор какого-то склада, сел на извозчика, по дороге пересел на конку и скрылся.

Бросить работу и уехать в другой город я не мог — некому было передать все начатое, все связи, склады, издательство и т.д. Пришлось остаться.

Переночевав в безопасном месте, я утром купил себе костюм, пальто, шляпу, перчатки, палку, ботинки другого цвета, пенснэ, потом зашел к парикмахеру и привел в порядок волосы и бороду, днем отправился во вторую парикмахерскую, где подстриг бороду клином, а вечером того же дня зашел в третью и побрился⁶. Усы закрутил а la Головин, переоделся во все

6 Один знакомый сказал мне, будто при Трепове был издан, которым парикмахеры обязывались доносить в полицию о всех, бреющих длинные бороды.

новое, перестал являться туда, куда раньше ходил и, пробыв еще месяц, уехал в Москву.

Здесь я встретился со старым своим товарищем, видным работником ПСР. Соглашаясь во всем с максималистами, он, однако, в виду упорных слухов о массе провокаторов в Союзе эсеров-максималистов, не желал примыкать к нему. Мы сговорились начать вдвоем совершенно отдельную, самостоятельную работу. Но в это время мне передали, что член ПСР ищет какого-либо члена Союза, чтобы передать ему документы, подтверждающие существование провокаторов в Боевой Организации (дело шло о С.Рыссе и о его якобы двух помощниках). Не найдя никого в Москве, он уехал по делам партии в Петербург. Я отправился его разыскивать.

Максималистская организация была уже в это время сильно разгромлена. По старым адресам ходить было опасно.

— Где же ночевать? спросил я, сидя вечером у знакомых. Остаться здесь — безумно, а идти некуда.

В это время явилась одна дама, немного мне знакомая. Узнав мое положение, она предложила прибегнуть к последнему средству: ночевать в гостинице с «дамой», роль которую она согласилась взять на себя.

— Второй раз мне приходится быть в таком положении. Вашего же товарища спасала. Паспорта никакого не требуется.

Первая ночь прошла благополучно. Не найдя эсеров, приходилось вторично ночевать в Петербурге. И я решил рискнуть: пойти на одну из старых квартир. В эту ночь я и был арестован.

За время моего заключения в одиночной Петербургской тюрьме я с помощью тюремной азбуки вел непрерывные

беседы с рядом со мною сидящими. Физиономия этих революционеров-индивидуалистов настолько необыденна, что я передам на страницах моих записок все, что они мне стучали, и обрисую вкратце их облик.

Я не знал их фамилий и, по раз принятому для себя правилу, не спрашивал их, кто они, что они. Я назову одного из них Николаем Осокиным, другого — Яковым Быстрым.

В первые дни своей тюремной жизни Осокин думал лишь о смерти, о мужественной смерти революционера. Но на седьмой день ему намекнули, что он мог бы спасти себе жизнь, если бы захотел; более того, он мог бы очутиться даже на свободе.

Он понял... Понял и промолчал...

И с тех пор, вернувшись в свою маленькую, темноватую камеру, он почти непрерывно шагает по ней, по временам останавливаясь у окна и смотря сквозь решетку на голубое небо, напоминавшее ему о жизни...

Он шагает взад и вперед, преследуемый одной мыслью: для построения храма будущего допустимы все средства.

С того памятного часа эта мысль преследует его упорно, неотступно, и днем и ночью она сверлит его мозг, не давая ни на чем другом сосредоточиться. Он перестал интересоваться судьбой своих товарищей, перестал отвечать на их стук. Лишь шагает из конца в конец, изредка хватаясь за голову, горячую и больную, изредка произнося вслух отдельные слова, отрывочные фразы, по которым можно было догадаться о мучившей его мысли.

На его большом, красивом, бледно-матовом лбу появились характерные складки глубокого раздумья. Резкая вертикальная борозда прорезала лоб, более мелкие радиусами легли вокруг глаз.

Когда ноги переставали ему повиноваться, он садился на низенькую, привинченную к стене кровать и, опустив голову на руки, просиживал, не двигаясь, целые часы.

Жандарм, часто заглядывавший в волчок, не раз шепотом передавал кому-то о странном поведении арестанта.

За первые семь дней перед ним прошла вся его жизнь. Вспомнил он свои бурные студенческие годы, тот кружок, в котором он вращался и душой которого он был. Вспомнил и о том влиянии, каким он пользовался в студенческой среде, на сходках и в кружках... Вспомнил и о своих столкновениях с начальством во время бесчисленных академических «историй», и о своих скитаниях после увольнений, и о возврате в родную студенческую семью.

Вспомнил он и другой период своей жизни — период подпольный. Он организатор подпольных рабочих кружков, он пропагандист, он агитатор... Вот он на трибуне-пне в лесу, перед ним масса рабочих с устремленными на него жадными глазами, ждущими от него разрешения многих непонятых ими вопросов жизни. Его слово ясно, убедительно, популярно. С затаенным дыханием прислушиваются к его речи об антагонизме труда и капитала, о столетиями продолжающейся борьбе между ними, о современном стремлении рабочего класса уничтожить эксплуатацию человека человеком, о необходимости борьбы под красным знаменем восстания. Он вспомнил как воодушевлялись они, измученные трудом дня, как горели

их глаза к концу его речей, как они готовы были идти за ним по первому его зову.

Его имя было популярно в рабочей среде; куда бы он ни являлся, везде он заслуживал любовь и уважение, везде он был брат и товарищ.

Знали его железную волю, знали его непримиримое отношение к врагам труда, для которых у него не было мягкого слова — для них он не знал пощады, он не ждал ее и для себя.

Он вспомнил, наконец, самый важный и опасный период своей жизни, когда от слов он перешел к делу. Как долго не решался он!.. Да гожусь ли я? не раз спрашивал он себя... Не дрогну ли? Но приняв решение, он всегда был впереди всех. Он никогда не посылал других, а шел с ними рядом. Сила наша, говорил он, в доверии друг к другу. Доверие — в равенстве: и на поле битвы, и перед лицом смерти, и в радости, и в печали...

Всю свою недолгую и тревожную жизнь он провел в полном согласии с выкованными им в горниле революционной практики идеями, в полной гармонии с разработанными им для себя, для своей работы теориями. Он ни разу не отступил от признаваемых им взглядов. Все свои шаги он всегда подчинял тем святым идеалам, на алтарь которых он готов был принести в жертву свою молодую, многообещающую жизнь. Он шел всегда прямо к цели, без компромиссов с врагом, без страха глядя в ожидавшее его «завтра». И в первый раз теперь, почти на пороге смерти, преследует его одна мысль: для построения храма будущего допустимы все средства.

Он стоит у окна своей камеры и смотрит во двор тюрьмы. Мысли его заняты все тем же: допустимо ли?

— Но поверят ли тебе на слово, тебе «известному», тебе с таким прошлым, тебе не знавшему пощады для своих врагов?

— Да, не поверят... тогда...

При одной этой мысли холодный пот выступил у него на лбу, дрожь пробежала по всему телу и он зашагал...

— Разве были у меня когда-либо такие мысли, разве прежде они могли появиться? Почему же теперь я в их власти? Почему они лезут, лезут, лезут? Почему?

— Жизнь прекрасна и жить так хочется...

— Хочется знать, чем кончится эта геройская борьба народа, что будет в ближайшем будущем, кто победит, как пойдет развитие родины, по какому пути... А после смерти — ничего, ничего... Как хочется жить, жить и бороться!..

— Ну, а если поверят слову, если поверят? Почему не сделать шага? Почему? что запрещает? Разве может случиться, чтобы я изменил тому залитому кровью знамени, под которым я так долго стоял? Все знают, что этого не может быть... И все меня поймут... У них и мысли не будет об измене,...

Не будет? Почему? Разве они не будут иметь права сказать: трус! Когда ты придешь к ним и расскажешь, как ты избежал смерти, разве они не будут иметь права сказать: трус! испугался черной пасти смерти, могильного холода небытия, испугался и... предал... Предал идею, загрязнил чистое доселе знамя. Нет тебе места в наших рядах, под нашим знаменем борьбы, борьбы во имя освобождения народа. Иди своей дорогой!..

— Что же потом? Скрыться совсем от всех, от друзей и от врагов? Скрыться — оставить поле битвы? Скрыться — оставить борьбу, во имя которой я жить хочу?..

— Остаться... Воспользоваться положением и нанести удар... Но разве «их» проведешь? Разве они не потребуют сейчас же работы, дела, а не слов! Потребуют, потребуют... Что же будешь ты делать тогда, к чему прибегнешь, чтобы продолжать «игру», чтобы использовать положение, чтобы быть честным пред собой.

Он уткнулся лицом в подушку, заткнул уши, как бы не желая слышать слов неотвязчивых, ужасных, надоедливых, отвлекающих его душу и покой... Но вдруг он вскочил... Глаза горели диким блеском отваги и решимости, лицо было бледно...

Нет! Мои мысли — измена, предательство. Мои мысли — жестокий, незаслуженный удар всему, чему поклоняюсь, удар тому стягу, который незапятнанным переходит из рук в руки вот уже несколько десятков лет. Временное ликование «их» по поводу моей «измены» нельзя будет ничем предотвратить, нельзя будет громко крикнуть, что «они» ошибаются, что мое падение фиктивно, что это один из маневров неприятеля. Они этого не будут знать, и используют мое согласие в своих целях. И «нейтральные», видя факт, поверят «им», а не мне, «им», а не нам. Они обобщат этот шаг, перенесут его на всех... Яд недоверия отравит их души. И не только их, а главное — души многих активных борцов.

Наши предшественники были сильны не только верой в народ, в знамя истины, не только ненавистью к настоящему, но еще и своей душевной цельностью; кристальная чистота их

души была талисманом, спасавшим от мук сомнений — от подобных дум. И их уважали... Их казнили, как разрушителей, как могильщиков существующего, но их уважали даже враги... И в этом было их перед нами преимущество. Поэтому к ним не осмеливались подходить с... «предложениями». А к нам? Осмеливаются... потому, что мы люди толпы, люди массы, люди обыкновенного, взяли за дела великие, за дела не по нашим силам. Мы давно уже раздвоились... Они это видят и спешат из этой великой трагедии нашей души получить барыш. А мы, цепляясь за грязную соломинку, попадаем на услужливо брошенный нам предательский крючок, и в итоге — потеря былого обаяния в обществе, потеря уважения у врагов, потеря идеей увлекательности, красоты, мощи и... постепенная смерть самой идеи...

Нет! Мы не строители будущего, мы даже и не разрушители настоящего, ибо не разрушители те, кто думает о спасении своего тела, о спасении своей жизни.

Он сидит на столе, болтая ногами и насмешливо смотря в глаза тому, с кем недавно еще хотел вступить в неравный бой...

Жандармский ротмистр с красивым, довольным и наглым лицом победителя жадно следит за своей жертвой. Глаза, черные глаза впиваются в душу, хотят вскрыть за таенные думы побежденного.

— Вам грозит очень тяжелое наказание...

— Ну! В самом деле? И что же?

— Вы как будто легко относитесь к своей судьбе. Разве для вас все равно, жить или умереть?

— Нет, не все равно. Жить лучше, чем быть съеденным червями... Наивный вопрос...

— Ну вот, стоит лишь вам искренно раскаться, и мы не отдадим вас червям... Посмотрите вот на это, не узнаете ли кого?

— Как же, знаю, очень хорошо знаю!.. Это — студент университета.

— Ну?

— Ну и... арестован за революционную пропаганду...

— Откуда вам это известно? Вы с ним знакомы?

— Откуда? Он снят в студенческой форме — значит студент. Карточка у вас — значит арестован. Ха-ха-ха! А вы подумали — дает «откровенные показания», решил, наконец, перейти во вражеский стан. Скажите, как вы сами относитесь к таким изменникам, худшим из худших? Ведь вы им не доверяете, не можете доверять, — ибо они служат за страх, а не за совесть. Разве в вашем лагере есть убежденные люди? Нет, у вас все люди купленные... Ну-ка, купите меня! Сколько вы мне предложите? Оцените меня, мою цену в революции вы установите. Но знайте, дорог я и дешево людьми не торгую.

— Оценить мы вас сумеем! Но раньше докажите вашу готовность откупиться.

— Видите ли, мы находимся в неравных условиях — я пленник, вы тюремщик. Договор между нами — договор между неравными сторонами. И я вправе буду данное здесь вам слово нарушить. Вот почему я хочу сказать «да» или «нет» не под мечом смерти. Освободите меня сейчас и этим докажите свою искренность. Ведь и я вам несколько не верю. Где гарантия,

что мое чистосердечное «раскаяние» вы не обратите впоследствии против меня же? Где?

— Гарантия? Зачем она вам? Освободиться от вас мы и так сумеем. Улик против вас и так достаточно. Вот вам и настоящая гарантия. А освободить вас... Если бы от меня зависело... пожалуй, рискнул бы.

— Ха-ха! Вот видите — рискнул бы! Значит не доверяете... Кончим разговор. Друг друга мы не обманем, не проведем.

Осокин отвернулся к окну и подумал: зачем я вступил с ним в разговор, да еще в таком тоне? Правда, для меня разговор не опасен, но... ведь он недопустим, для всех оскорбительен. Еще на самом деле подумает... Выгнать его, крикнуть, вылить все возмущение свое против всех ему подобных, все негодование свое против этих убийц «по закону», весь вопль души своей против виновников ужасов жизни...

— Не упорствуйте, скажите только.

— Ничего я не скажу! Оставьте меня... Вам не понять, что есть гораздо более ценное для человека, чем жизнь — честь!

Он остался один.

— Зачем, зачем?! Зачем я не оборвал его тогда же, при первом намеке? Зачем я дал ему возможность и право вторгаться сюда, говорить, как равный с равным? Что мной руководит? Боязнь смерти? Жажда жизни? Даже посмеяться над ним мне не удалось! Смеяться так, чтобы через этот смех он чувял презрение ко всему их миру, ненависть ко всем сытым и довольным, ко всем мещанам духа и морали. Что же меня удерживает? Неужели луч надежды?

—Нет, нет...

—К чему же вся эта двойственность, беспринципность некрасивая и позорная?

Ночь... Он лежит, закутавшись в одеяло, но не спит. Все та же мысль его мучит.

В камеру вошел жандарм. Осокин сел.

— Зачем вы пришли, что вам надо? Зачем вы не даете покоя даже ночью? Вы думаете чего-либо достигнуть своим хождением, надоеданием! Ошибаетесь! Ошибаетесь горько. Я никого не выдам! Никого!.. Ни-ко-го!.. Слышите, никого! Больше я не произнесу ни слова. Уходите!

— Не горячитесь, г. Осокин. Зачем нервничать? Ведь насилия над вами не производят. Вы не спите, все равно не спите. Мы это знаем. Я и пришел сказать вам, что есть еще время, ибо вам грозит...

— Оставьте меня в покое!

— Вам грозит смертная казнь.

— Убирайтесь вон! Убийцы!..

Он упал на постель в припадке дикой злобы и жажды мести тому миру, который храм настоящего строит на человеконенавистничестве, порабощении и издевательстве.

— Кто они издевающиеся над нами?

— Наступит ли день, когда не будет продажных, торгующих своей совестью и честью ради услаждения брюха, ради роскоши, разврата. Наступит ли день, когда прекратится торговля своим человеческим достоинством, своею личностью

ради алчных appetитов кучки зверей, ради укрепления царства дикарей!.. Наступит ли?

Всю ночь он метался в постели. Лишь под утро заснул тревожным сном.

Он встал разбитый, усталый, с головной болью, общим упадком сил и сразу вспомнил ночной визит, свой поступок, и взяло его раздумье. Не надо горячиться; это следствие бессилия духа. Надо быть хладнокровным и совершенно не отвечать на приставания. Вести себя так, как будто он — «пустое место». Это лучшая тактика в подобном положении. Оградить себя от подобных оскорблений силой невозможно здесь, здесь, где чувствуешь себя связанным, где крылья подрублены...

«Сижу за решеткой в темнице сырой, Вскормленный на воле орел молодой»... запел сосед...

— Нельзя петь! Сойди с окна! Раздался окрик часового. Сойди! Стрелять буду!..

Вот она темная сила, подумал Осокин и возбужденно зашагал по камере.

— Но можно заставить его уйти и не возвращаться... можно. А потом? Потом грубая кулачная расправа, быть может пытки, издевательство. Кровавые руки будут хлестать по лицу, по щекам, будут бить сапогами, рвать волосы...

— Выдержу ли я зверство исступленных палачей! Не лучше ли молча терпеть его присутствие, чем не суметь молчать тогда, не суметь ответить молчаливым презрением на физическую боль?..

И он молчал... Молчал терпеливо... А «тот» ежедневно появлялся, усаживался на единственной скамейке и говорил... говорил...

— Потускнела некогда яркая ваша идея, полиняло некогда красное ваше знамя... порозовело... Широта революционного движения не пошла вам на пользу, на пользу революции. «Отдельные ручейки», которые вливались в море народного гнева, помутнели, засорились, а в некоторых местах загрязнились...

Вы идеализировали народ, а он не только «фефела», он нечто худшее, — он грубый эгоист, жестокий. Посмотрите, как он реагировал на события. Мало того, что он не выступил в защиту представителей своих, он отвернулся и от тех, кто жизнь за него отдает; отвернулся от вас, ибо вы не дали ему синицы в руки... Он отвернулся, ибо увидел, что сила вне вас. Он пошел теперь за той силой, от которой надеется что-либо получить, и против которой вы боретесь. За чечевичную похлебку он продал право первородства. Народ не идеалист, а материалист грубый, пошлый. Он продаст вас, если ему будет это выгодно. Он грубый индивидуалист, жестокий тиран, ярость которого вы не раз чувствовали. И теперь не место вам в народе — там вас ждет месть обманутых вами, месть тех, кто недавно вам доверял, месть тех, от которых мы должны вас защищать...

Вы верили в интеллигенцию. Где она теперь в момент упадка, в тот момент, когда ее голос необходим? Где она? Что ее интересует, чем увлекается? Порнографией, санинизмом, голым телом, красивыми ногами, бедрами и девичьей грудью... Что интеллигентские писатели воспевают? Народ? Пролетариат? Героев? Отдельные проявления героической части социалистической интеллигенции и пролетариата? — Они воспевают распущенность, разврат, насилие... Они увлеклись «проблемой пола», односторонне грубо преломленной в их

головах. На что направляются лучшие дарования? На решение политико-экономических и социальных вопросов, вопросов равенства и свободы! Нет! на проповедь равноправности женщины в сфере половой разнuzданности...

Где ваша молодежь, «соль земли», «цвет страны»? Она ушла из стана погибающих, переметнулась в стан веселящихся — в публичные дома, отдельные кабинеты, сады и шантаны. Она разочаровалась в революции и, лишь только вчерашний кумир был свержен, приняла участие в оргии, устроенной на его трупе...

Всмотритесь в тех, кто проповедует царство свободы, равенства и братства. Посмотрите, применяют ли они в своей собственной жизни эти принципы. Где у них равенство! Среди них есть бедные и богатые. Есть «товарищи», которые живут роскошно, ни в чем себе не отказывают, живут так, как не удается многим врагам «товарищей». Есть и такие, которые буквально пухнут с голоду... И часто они сидят рядом — сытые рядом с голодными, одетые в лохмотьях рядом с шикарными и блестящими, измученные трудом рядом с самодовольными бездельниками...

А куда делось равенство? Там царит культ личностей и революционный карьеризм. Посмотрите, как покорных «верхам» выдвигают, как их устраивают и помогают взобраться на вершину партийной лестницы и как придавливают громко вскрывающих внутренние язвы, как убивают в них инициативу, как заставляют молчать или, в противном случае, убираться вон из «братской» семьи. Чем ваше начальство лучше нашего — бюрократического? И у вас вырабатываются деспоты, раз им попадает власть в руки. Они так же нетерпимы и так же отлучают от своей церкви, так же требуют повиновения. Там также

господа и рабы, там такое же лакейство, такое же заискивание и такая же боязнь быть лишенным чести. Как легко это там делается?.. Сколько напрасных жертв? Там та же протекция, то же значение связей, та же власть денег... Да, это так?.. И не надо вам закрывать глаза: требования жизни вытеснили идею из ее окопов. Идея теперь — маяк мерцающий...

В течение нескольких дней жандармский ротмистр возвращался к этой теме... Несколько раз он пытался вызвать Осокина на разговор...

Осокин молчал и смотрел в окно, как будто он был один. Лишь непрерывное постукивание пальцем в окно слегка выдавало его волнение. Хотелось крикнуть: ложь, клевета!.. Но страшным напряжением воли, он сдерживал себя и продолжал барабанить по стеклу.

На рассвете двадцатого дня он был казнен...

С первого же дня своего ареста Яков Быстров решил бежать из тюрьмы, бежать во что бы то ни стало. Но, попав в одиночку, он понял, что ему не уйти...

— Не уйти!.. Умереть... За что? Я еще так мало сделал... Почти ничего в сравнении с тем, что мог бы сделать... Я мог бы нанести ряд страшных ударов врагам, ряд ударов, от которых они не так быстро оправились бы. Я чувю в себе на это силы, умение и способности...

Он прислонился к окну и внимательно осмотрел двор. Внизу расхаживал часовой...

— Не уйти!.. Неужели сдаться, не попробовать увидеть воли, товарищей, не испытать вновь счастья борьбы, счастья

видеть растерянность врагов, их ужас перед градом ударов» направляемых неведомой рукой? Неужели отсюда одна дорога — на виселицу?

Он снова посмотрел во двор. Внизу стоял часовой и следил за окном его камеры. Он повернулся и заметил глаз коридорного надзирателя в волчке...

— Не уйти, не уйти!..

— Он задумался над блеснувшей вдруг мыслью.

Путь опасный... Опасный во всех отношениях. Но мне ли останавливаться перед опасностью, мне ли раздумывать о последствиях? Могут ли они быть плохими, если это останется тайной, будет известно немногим избранным, не сделается достоянием массы, чтобы не вызвать подражания... Это орудие в руках слабых наносит им же удар... Это — палка о двух концах. Лишь смелые духом, сильные волей способны управлять ею, способны этим путем ковать счастье родины. И я буду ковать!... Вы почувствуете еще мою силу! Не думайте, что меня так легко победить!.. Еще поборемся!..

Но... как отнесутся те, кто остался там... на посту, как доказать им всю необходимость в данное время подобных шагов?.. Как доказать им, что это один из лучших путей борьбы. Я предвижу тот град обвинений в забвении революционных традиций, принципов, в отсутствии твердых устоев социалистической морали, в авантюризме и тому подобных «грехах», которые на меня посыпятся из уст правоверных. Тяжела будет борьба против моих обвинителей!.. Что же делать? Сдаться?.. Умереть? Умереть гордо, бросив своей смертью вызов врагам?..

Жребий брошен... Мне ли бояться последствий!

Мне ли, объявившему войну современному всемогущему Богу-капиталу; мне ли, призывавшему народ к полному разрушению существующего во имя создания храма будущего на основе свободы и любви неловка к человеку....

Мне ли, отрицающему власть, закон, право — основы современного рабства, религию, своим авторитетом поддерживающую тот строй, который сотни миллионов обрекает на умственное и нравственное вырождение.

Мне ли, поднявшему знамя бунта против всех понятий и принципов современного общества, придуманных господами для обуздания дерзкой воли рабов; осмеивавшему и дерзко поправшему буржуазную мораль и идею долга, выгодную только сильным, применяемую против слабых.

Мне ли, бичевавшему слабых за кротость и терпение, богатых за ненависть, жадность, грубость, жестокость; доказывавшему, что современное общество держится на лжи, измене, продажности; разрушавшему мощным словом основы семьи, и добродетели.

Мне ли, повергшему во прах все эти старые предрассудки, поднявшему красное знамя свободы во имя творчества новых форм жизни, прекрасных и справедливых, где сольются в единую гармонию любовь, братство и счастье, где, исчезнет даже понятие о преступности, обмане и зависти.

Мне ли не посягнуть на рожденную понятиями секты мораль!

Кто отрицает само понятие долга, как религию господ, тот не может признавать долг революционный....

Кто зовет к борьбе во имя полной свободы, тот не может быть рабом партии. А я, как будто, боюсь, боюсь ее послушаться, не смею свободно поступать, как хочу; меня как будто гнетет мысль, что она от меня отшатнется... Значит с ее взглядами и понятиями я считаюсь, ее мнением интересуюсь.

Я не свободен, я раб!..

Я раб, как и все говорящие лишь о красоте будущего!..

Я ничем не отличаюсь от жрецов умеренности и аккуратности!..

Я боюсь, как и эти последние, смелых выводов человеческого разума!

Я раб выработанных другими доктрин, держащих в узде выгодной им морали смелых разумом и дерзких волей, господствующих над их душой, их сердцем и волей!..

Я раб тех идеалов-идолов, которых я давно разбил и бросил в сорный ящик мещанства. Я преклоняюсь перед ними, окружая ореолом величия и культом красоты!

Я нахожусь во власти их и потерял способность свободно и логично мыслить и рассуждать!..

Нет; я рву сковавшие меня путы условной морали, я сообразуюсь лишь с требованиями того красивого земного храма, построить который я призывал все отважное, дерзкое, смелое и могучее!...

Я рву окутавшую меня паутину новой, но не общечеловеческой, корпоративной морали..

Бойтесь кастовой психологии, губительной для великого дела будущего!..

Бойтесь культа личностей.

Бойтесь старых путей. Идите смело новыми для завоевания царства равенства на земле!

Дерзайте!..

Глава XIII

От с. Александровского до г. Якутска наша партия политических административно-ссылных ехала 28 суток, и в течение этого времени мы имели возможность знакомиться в некоторых местах с настроением сибирского крестьянства, с его отношением к современному⁷ положению вещей, к политическим партиям, их лозунгам и программам, к правительству и его мероприятиям и т.д. И это ознакомление было довольно детальное, ибо в течение 28 дней мы чувствовали себя не арестованными, гонимыми в далекую и холодную восточную Сибирь, а скорее вольными пропагандистами, мчавшимися из села в село, ведущими непрерывную проповедь идей социализма и революционной борьбы народа против самодержавия и капитала.

Эта «вольность» не была взята нами с бою. Нет! Это была счастливая случайность, следствие целого ряда обстоятельств, среди которых боевой состав нашей, партии занимал последнее место, а первое — «сознательность» конвоя, ни разу не пожелавшего быть орудием в руках жандарма, начальника конвоя, в первые дни нашего невольного путешествия пытавшегося показать силу своей над нами власти. Кроме того, у самого «начальника» конвоя не доставало для роли сгибателя в бараний рог ни характера, ни энергии, ни умения. Лучшей его характеристикой служит столкновение с писарем — женщиной на одном из станков после Олекминска. Она оказалась очень бойкой и энергичной. Крестьяне и нахвалиться не могли ее

7 Относится к началу 1908 года.

работоспособностью и самостоятельностью. С их слов, она — из «опростившихся», вышла замуж за крестьянина, который вскоре умер. Осталась она с девочкой без средств, — ее и выбрали в писаря. Это действительно была «бой-баба». И остроту ее зубов почувствовал наш «начальник партии», как любил называть себя жандарм. Увидя перед перед собой «бабу», он прикрикнул, чтобы лошади были немедленно готовы.

— Не кричи, ответила она. Здесь нет твоих подчиненных. Ишь, разорался дармоед!

«Начальник» опешил. Он не ожидал такого отпора, а, главное, такого «свирепого» лица, дышавшего ненавистью к !синему мундиру!

— Почему вы требуете только 16 лошадей? спросила она, узнав от нас, что крестьяне села Солянского настояли на 22-х.

— Мне отпущены деньги на шестнадцать, смиренно, понизив тон, ответил жандарм.

— А нам какое дело, что отпущено! Полагается 22, так плати...

Долго длился спор, но никто, кроме «высшего начальства» его решить не мог, и она сдалась, предварительно обругав их всех прохвостами и кровопийцами. В отместку она запрягла жандарму какую-то клячу в «корыто», а не в сани, так что наш «начальник» приехал на следующий станок позже всех и до того измученный, что должен был не в очередь подкрепить свои силы. И это «издевательство» «бабы» он принял, как должное, без протеста, без спора...

Отношения между нами и конвоем установились чисто дружеские. Этому способствовало еще и то, что мы для них

сделали все, чего не сделало начальство, посылая в такой суровый путь.

В сибирские декабрьские морозы конвой был послан сопровождать нас в легкой одежде: в бурках вместо катанок, без барнаулок, выдаваемых даже нам — «арестантам», без дох, а в коротких полушубках под шинелью. Вместо меховых рукавиц — рукавицы из черного сукна. О назначении их в конвой они узнали утром, а часа в четыре того же дня выехали, так что не успели приготовиться. И они буквально замерзали в дороге.

Мы начали агитацию на этой почве и в конце концов добились того, что в Киренске конвойные солдаты категорически потребовали теплой одежды. Они получили только катанки и не переставали коченеть вплоть до Якутска, несмотря на наше решение устраивать их на ночь в кошеве. По очереди каждый из трех, находившихся в ней, уступал свое место конвойному, а сам садился на козлы рядом с ямщиком, брал ружье в руки и «охранял» и товарищей своих, и конвойного. Почти во всех кошевах солдаты часть ночи спали.

Когда решался вопрос о ночевке в каком-либо месте, голосовали вместе со всеми и солдаты, нередко разрешавшие спор между двумя частями партии — ехать или отдыхать.

Понятно, жандарм был бессилен и его приказания просто не исполнялись. Он это сознавал и вел себя тише, воды, ниже травы.

И вот, благодаря такому «стечению обстоятельств», мы не только избегали «историй», вызываемых, чаще всего, грубостью начальника конвоя, «историй», так часто случающихся в настоящее время разгула реакции и развала всех скреп, ранее сдерживавших немного дикие инстинкты человека-зверя, мы

имели возможность познакомиться с настроением сибирского крестьянства, с его желаниями и надеждами. И выход, к которому мы пришли на основании наших наблюдений, вполне совпал с выводами местных коренных жителей, близко соприкасавшихся с трудовым населением Иркутской губернии и Якутской области.

Нами было отмечено почти полное отсутствие черносотенного течения в крестьянской среде⁸. В течение 28 дней мы непрерывно вели беседы на всех станках, во время езды с ямщиками, и ни разу во время этих бесед не проскользнуло «истинно-русского» отношения к т.н. «освободительному движению» и к «политикам». За исключением «братушек», которые не заводили с нами никаких разговоров, а старались как можно быстрее спровадить нас из села и передать на другой станок, для чего бешено гнали лошадей и великолепно везли нас по бурятским снежным полям, на всех остальных станках непременно подымался разговор о «думах», о трудной крестьянской жизни и необходимости ее облегчения. Почти везде население проявляло интерес к нашей судьбе, высыпало встречать и провожать нас. В одном селе нам преподнесли рыбу, капусту, пироги, белый хлеб. В другом — вина, конфет и денег. В некоторых местах не брали денег за чай, картошку и молоко, в некоторых предлагали услуги свои в случае побегов, давали адреса, куда можно заехать и скрыться. И почти везде, когда бы мы ни приехали, днем ли или вечером, через несколько минут хата наполнялась любопытными и интересующимися, чтобы «поглядеть и покалякать».

8 Отдельные черносотенцы везде имеются, но и то неактивные.

В одном селе в нашу довольно просторную избу набралось свыше 40 человек крестьян. Они разбились на группы. Около одних ссыльные передавали виденное ими, слышанное и пережитое, в ярких красках рисуя крестьянское и рабочее житье. Другие пели революционные песни, третьи записывали их, записывали адреса, куда можно обратиться за литературой, — давали свои. Тут же шмыгал взад и вперед жандарм, прислушиваясь ко всему, что говорят. Он производил всей своей фигурой неприятное впечатление. Лицо острое, птичье, улыбка ехидная, иезуитская.

— В шею бы его отсюда... Шпион! раздавались голоса молодых крестьян.

— Чего вы выглядываете? спросил один ссыльный. По привычке?

Э-э... нельзя. Ведь вы произносите запрещенные речи, ругаете правительство. Э-э... поете революционные песни.

—Ха-ха-ха!., раздался дружный смех. Многие из нас в Якутку идут за это «преступление». Неужели же здесь мы будем признавать то, чего раньше не признавали. Для вас песни запрещенные, а для нас самые что ни на есть настоящие.

—Э-э.. нельзя... пора ехать...

—Послушайте, жандарм, ужасно противно смотреть, как вы шпионите. И так нахально. Если вы, как начальник партии, считаете своей обязанностью следить за нами, то садитесь на стул и смотрите, бомб и револьверов не передадим ли. Подслушивать и знать, о чем речь идет, вам для этого не надо.

Ему поставили стул у дверей. Он смутился и безропотно сел на стул. Но минуты через две, три, видя что, никто не

обращает никакого внимания на его присутствие, поднялся и исчез.

А экспромтом организованный митинг продолжался.

— Как у вас крестьяне насчет Думы? спросили одного молодого крестьянина.

— Барская дума! протянул он, махнув при этом рукой. И первые мало чего дали бы нам, а эта уж давно. Наши, вот, думают, что первая Дума дала бы земли, если, бы ее не разогнали, и облегчила бы крестьянскую жизнь. А от 3-ей ждать добра не приходится. Это все понимают.

— Жизнь наша тяжелая. Кормимся только от гоньбы.

И на не кого надеяться, и не знаем, как выбраться из нашей бедности, — сказал другой.

— Как выбраться! На себя надейся и жизни не жалея... Вот и все...

Могучее пение «русской марсельезы» прервало разговор. Во всей этой демонстрации принимали участие и крестьяне, совершенно не стеснявшиеся жандарма и местных властей. Открыто поносили дармоедников и живодеров и с чисто крестьянским юмором издевались над «птицей». Во главе их стоял учитель, молодой, симпатичный с открытым лицом и живыми глазами.

В Мухтуе Иркутской губернии (приблизительно в 150 верст от Нохтуйска) мы встретили «политика» из местных купчишек. Заинтересовавшись моральным и духовным обликом деревенского революционера, мы вступили с ним в беседу, просидев на этом станке вместо 2-х часов — 5, что случалось с нами довольно часто. Он был очень словоохотлив и рассказал нам, как он попал в тюрьму за чтение и распространение

брошюр. Но чем больше он рассказывал, тем яснее становилось для нас, что он не «настоящий». И это нашло подтверждение в его дальнейшем поведении. Во время нашего разговора в комнату вошел жандарм. А. немного побледнел, встал и произнес: здравствуйте...

—А-а! Вы здесь? Что делаете? спросил жандарм, протягивая ему руку.

Тот ее крепко пожал и даже потряс, при чем как-то подобо-бострастно заглядывал ему в глаза.

— Не занимаетесь ли вы опять политикой?

Смотрите, вы уж раз пострадали... А здесь вам нельзя оставаться... посторонним...

— Здесь он не посторонний! раздались протестующие голоса, и «птица» немедленно упорхнула.

— Зачем вы с ним так себя ведете? Разве это подобает революционеру?

— Видите ли, он меня арестовал, обыск производил и может на меня донести, если я...

— Э!... так вы плохой политик. Разве подобает революционеру так рассуждать?

Долго ему объясняли и доказывали на тему о революционной морали.

Подлиза, подмазкин сын... Лебезит пред этой сволочью...

Это был отзыв крестьян и крестьянок, находившихся в другой комнате и наблюдавших сцену встречи А. с жандармом.

— Да и что с него возьмешь.. Он какой-то наивный, глупый. К чему-то стремится, но не знает к чему и как. Начальства трусит. Ничему от него научиться нельзя. Ни растолковать, ни

рассказать, ничего не может. Вот про землю и Думу расспрашивали. Ничего не знает...

— А вы сами как на этот счет?

— Да что, пока не возьмем, не дадут....

— И все так думают как вы? спросили одного.

— Нет... Многие на думу надежду имели... не на эту господскую, а на первую, вторую...

— Вы принадлежите к какой-либо партии?

— Нет, у нас почти все без партий... Книг ихних много читали... Верно пишут...

Отрадно было слышать эти слова, отрадно было беседовать с крестьянами. Но то, что мы увидели в С., до того всех поразило, что даже теперь, спустя свыше двух лет, вся картина встречи нашей партии встает, как живая.

Мы приехали в С. часов около восьми вечера. О том, что «партия едет» там узнали от одного купца, встретившего раньше нас, с предыдущего станка. Как только мы подъехали к станку, нас направили в одну сторону, конвой и жандарма в другую.

Мы вошли в довольно просторную комнату. С правой стороны стояла группа в 15 детей во главе с восьмилетним знаменосцем. Задние стояли на скамейке. Как только все вошли в комнату, детский хор грянул «русскую марсельезу».

Жандарм, которому все же хотелось посмотреть, где будут «отдыхать» конвоируемые им пленники, вошел вслед за нами в комнату и, увидя знамя и довольно стройное пение детей, замахал руками и попятился к дверям.

—Нельзя... нельзя!., зашептал он. Бросьте петь, бросьте!..

—Жандармам здесь не место!.. Идите в другую избу... Марш отсюда — крикнул 13-тилетний регент.

И «птица» немедленно скрылась... Мы были сильно поражены этим юным хором и стояли словно прикованные к милым личикам, на которых отражалась какая-то торжественность, понимание серьезности минуты и готовность защищать свое знамя, которым размахивал минутой назад ребенок перед лицом власти. Первым очнулся г. М., еще недавно проезжавший эти места и ничего, подобного не выдавший. Слезы выступили у него на глазах, он кинулся вперед и крепко расцеловал знаменосца.

Громкое «ура» раздалось вслед за этим, все двинулись в следующую комнату, где хозяева угощали приезжих. Под звуки революционных песен произносились один за другим тосты, пошли разговоры, расспросы и т. д.

В это время молодежь решила не выпускать нас из села до утра и устроить в «честь политиков» «вечорку»... И они добились своего. По какому-то пункту устава о подводной повинности по Якутско-Иркутскому тракту на каждого пассажира полагается по лошади. Считая конвоиров такими же пассажирами, они требовали платы и за них. Жандарм запротестовал, ссылаясь на невыдачу прогонных для конвоя.

— Если начальство ваше не соблюдает правил, то не мы тому виной. Мы требуем по закону, который, может быть, другие уже забыли. Достаточно для вас и то, что вы около 2 т. верст ехали без денег.

Как их ни уговаривал жандарм, ничего не помогало. Они знали, что спор может быть решен лишь высшей властью, для вызова которой придется отправлять наречного. А пока что

можно будет погулять с «политикой». Так оно и случилось: спор был разрешен лишь утром следующего дня и в пользу протестантов.

А мы пока гуляли. «Вечорка» была устроена в школе. Туда собрались все девчата и парни, пели и сибирские, и революционные песни, лучшие танцоры и танцорки откальвали «русскую» и «казачка» под игру уродливого до ужаса скрипача, вели хороводы, заканчивавшиеся по обычаю поцелуями кавалеров с ближайшими дамами, некоторые подвыпили с гостеприимной С. молодежью. В «весельи» принимали участие и конвойные...

С таким же радушием и приветливостью провожали нас, суля лучших времен...

Такой же революционной и отзывчивой можно считать и молодежь села Ч. В то время, как во всей России не было ни одного места, где бы осмелились открыто протестовать против современного разгула реакции, в селе Ч. девятого мая 1908 г. была устроена демонстрация с пением песен и ношением красного знамени, закончившаяся «делом 22-х».

В очень многих местах Сибири культурно-революционную деятельность проявляют учителя и писаря, которые не только растолковывают крестьянам законы и циркуляры, но и организуют протесты и даже забастовки. Так, например, забастовка ямщиков части Иркутско-Якутского тракта.

В нашей партии были старые ссыльные, близко соприкасавшиеся с сибирским, особенно же с якутским населением, знавшие их политический облик в 90-х и начале 900-х годов, имевшие, следовательно, возможность оценить значение всех событий для этого глухого «уголка» России. И они были пора-

жены тем, что увидели и услышали, той переменной, которая произошла во взглядах и психологии населения, переменной, бьющей в глаза, и открыто проявляющейся по всему тракту. Они не верили в этакое «чудо» в начале. Но повсеместность явления победило их скептицизм и в конце концов один из них, самый старый, с гордостью произнес: и наша долгая работа здесь сказалась. Мы можем гордиться...

Глава XIV

Жизнь в этом диком краю представляет собою точную копию с жизни в каком-либо захолустном провинциальном дореформенного периода городишке с той лишь разницей, что отсюда, как говорится, три года скачи не доскачешь до центра культурной жизни.

Жизнь здесь — серое, монотонное прозябание, скука и безделье, пьянство и другие «развлечения», не дающие ничего ни уму, ни сердцу. И это здесь, в центре области, где 7 тыс. населения, где «просветительные учреждения», клубы и «библиотеки» ...

Здесь проводят почти все свободное время за картами и выпивкой, процветающей в этом краю как нигде в России со времен Владимира Святого. Алкоголь (и не водка, а спирт) — бич не только инородцев — тунгусов, ламутов, чукчей, юкагиров и даже якутов, фактор их разложения и вымирания, но и бич интеллигентных пришельцев, тоску жизни нудной заливающих спиртом. Здесь пьют все — и туземцы, и пришельцы, и уголовные, и политические, и мужчины, и женщины, старые и молодые. Здесь не редкость встретить в клубе «подвыпившую» девушку, еле держащуюся на ногах.

В первый раз, когда человек 15 из местной демократии чувствовали второй «приезд» старых ссыльных, оказавших влияние на развитие демократических взглядов в среде якутской молодежи, я видел, как представительницы «прекрасного пола» нисколько не отставали от «исконных потребителей» вина и так же выделяли пьяные «па», как и мужчины.

Ансамбль был полный...

Потом не раз я с этим сталкивался. И местное «общество» не реагировало на это, по-видимому, для них нормальное явление.

Привыкли, пригляделись....

Раз даже во время «масленичных» катаний на тройках одна девушка распевала в «лежащем положении», девушка, довольно скромная и симпатичная в обыденной жизни.

Пьют купечество, пьют чиновники, полицейские, учителя, духовенство и... громадная часть ссыльных.

Вся местная жизнь представляется постороннему зрителю в виде сплошной «выпивки, то аристократической с вином и шампанским, то демократической с простой «казенкой».

Лишь отдельными оазисами выделяются на этом «пьяном» фоне группы людей, стремящихся оздоровить эти «гиблые места» и внести сюда живую струю новой жизни, охватившей всю Россию.

Провести в таком омуте несколько лет и не заразиться общим «весельем» нет никакой возможности. Вот почему, между прочим, каждый революционер, с первого дня ссылки, мечтает о побеге.

Как ни труден он, как ни зорко следит полиция за ссыльными, но побег возможен, хотя с каждым годом затрудняется.

Еще в 1907 году, когда сибирское крестьянство было сплошь революционно, когда местные черносотенцы были немые, когда урядники, становые пристава и исправники сквозь пальцы смотрели на побег, и в некоторых единичных пунктах даже помогали им, когда матросы, пароходная администрация и пароходоладельцы не боялись ответственности и покровительствовали ссыльным во время побегов, еще в этом

году из одного Олекминска бежало около 5-ти человек из 50-ти. Самым выдающимся побегом бесспорно считается побег Хаенко, Махлина и Андреева, административно сосланного из Москвы после оправдания его военно-полевым судом по процессу Владимира Мазурина; весь путь от Олекминска до Иркутска они совершили пешком, без денег, имея лишь крестьянские адреса. Они шли в качестве приискателей, которые массами направляются летом на Витимские и Олекминские золотоносные системы, изучив основательно жаргон, приискателей, их нравы и манеры, и узнав подробно путь. После Витима путь сделался труднее, и они пользовались помощью крестьян, которые их укрывали и указывали ближайшие пути на следующие станки. Кое-где, встречая крестьянина-сибиряка, они садились в телегу и отдыхали от долгой ходьбы.

Так шли они три месяца. Добрались до Пензы, где, принятые за бродяг, были арестованы и отправлены в Вилюйск...

Массовые побег политическими обратили внимание правительства, и было отдано распоряжение «принять меры». Уже в 1908-году все приходящие и отходящие пароходы осматривались полицией. И пока хотя бы один ссыльный оставался на пароходе, он не отходил от пристани. Кроме того, каждый пароход сопровождался до конечного пункта агентом по надзору за ссыльными, которых все они знали в лицо. И если кто-либо садился на пароход не в Якутске, а на какой-либо другой станции, он все равно подвергался риску быть узнанным пароходными шпионами. Помимо всего, после отхода каждого парохода (два раза в неделю) ко всем ссыльным являлись «шпики» узнавать, дома ли они. Несмотря на все строгости, побег все же удавались. Таким «удачным» побегом был побег Свядоща. В августе 1908-года он отправился на

пароходе «Якут», на котором губернатор выехал встречать Иркутского генерал-губернатора Селиванова, ревизовавшего область. Случилось как-то, что чиновники, сопровождавшие губернатора, спустились в машинное отделение и здесь увидели С. Он был отправлен в Якутскую тюрьму на пароходе «Пермяк», капитан которого был архи-черносотенцем. Из тюрьмы его отправили в Вилюйск. Но на осенней пристани, в семи верстах от города, он в удобный момент бросился в воду, выскочил на берег и скрылся. Через несколько дней он выехал на первый от Якутска станок Табагу, и с помощью случайно встретившегося крестьянского парня, узнавшего в С. «политика», ночными сигналами заставил капитана парохода, идущего из Якутска, послать за ним лодку на берег. Оказалось, что то был пароход «Пермяк». С ближайшего станка капитан телеграфировал, что беглец у него. Но в судьбе С. приняли горячее участие матросы, которые превращали С. в товарный тюк и так же, как и весь товар перебрасывали его туда и обратно всякий раз, когда происходил обыск. Но долго быть товаром не было физической возможности. А обыски все учащались... Решено было спустить его на берег, обманув встретившую пароход полицию, чтобы избежать «генеральный» обыск.

Когда пароход остановился недалеко от села Солянского для загрузки дров, на пристани появился полицейский надзиратель и зорко следил за всеми сходящими. Тогда приказчики, ехавшие в Иркутск, затеяли во втором классе драку, разбили лампу, стекло и одному даже нос.

— Караул! закричал побитый. Убили! Убили! Спасите!..

На пристань выскочил еще один и накинулся на полицейского.

— Чего вы здесь стоите? Там людей убивают!

Кинулся страж в каюту второго класса, но там уже было все спокойно и раненных не было. Тогда понял он, что его обманули, кинулся обратно на пристань, но было уже поздно: С. сошел уже на берег, где был окружен появившимися солянцами и увезен. Поиски, длившиеся несколько дней, не дали никаких результатов. Он исчез бесследно.

Чтобы гарантировать успех своему побегу, я добивался того, чтобы за мной перестали следить. Прежде всего я начал гнать в шею «агентов по надзору».

Я жил на заимке в трех верстах от города. Туда сначала приезжал «агент» после отхода пароходов. Приедет, зайдет прямо в комнату и спрашивает:

— Здесь живет такая-то или такой-то?

Он превосходно знает, кто здесь живет, но политические, воюя против такого вторжения шпииков в свои квартиры, добились того, что без дела они не появлялись. Но следить за ссыльными надо, и они придумывали дела: то придет узнать, где живет Х., У., Ц., то — позвать в полицию, то принесет какую-либо повестку. Решил я отучить их разыгрывать эту комедию.

— Зачем вы врете? накинулся раз я на «своего «шпиика» (каждому агенту поручается несколько ссыльных, за которыми он и следит). Ведь я знаю, что вы пришли узнать, не уехал ли я. Зачем комедия? Если вы еще раз явитесь, то я вас вон выброшу. Так и передайте полицеймейстеру.

В следующий раз он, раньше чем зайти, постучал в дверь. Заметив его приближение, мы ее заперли. Он еще раз посту-

чал. Молчание... Он обошел весь дом, заглядывал во все окна, потом вновь постучал.

Вы опять приехали! Я ведь сказал, что гнать буду!

- Мне полицеймейстер приказал.

В таком случае, я вас больше не впусу, и вы все равно не будете знать, дома ли я или уехал.

Так я и поступил. Тем более, что у меня в это время скрывался бежавший из Вилюйска товарищ.

Надоело агенту выслушивать такие «любезности» и он, по-видимому, решил делать ложные донесения. По крайней мере, он ограничивался тем, что проезжал мимо всех заимок и уезжал обратно в город. Если ему удавалось встретить кого-либо — хорошо, не удавалось — тоже ничего.

Я же, для успокоения агента, начал появляться часто в полиции или проходить мимо нее.

Наступало время отъезда. Я жил уже в городе, имея две квартиры — одну «официальную», о которой я сам «доложил» полицеймейстеру, другую — конспиративную, где я проводил все время. На первой шпик меня никогда почти не видел, не заставал ни утром, ни вечером, а на вопросы, здесь ли живет такой-то, получал утвердительные ответы. Если я узнавал, что он часто появляется, что означало беспокойство моим отсутствием, я являлся в полицию «по делу», потом вновь пропадал. Когда почва была таким образом подготовлена, я, превратившись в молодого купчика, отправился в путь.

О том, как я добрался до Иркутска (2700 верст от Якутска), приходится пока умолчать. О разных эпизодах, волновавших меня и расстраивавших мое самочувствие, также. Можно лишь упомянуть, что, садясь в Витиме (от Якутска 1400 верст) на

пароход, должен был пройти мимо приставы, осматривавшего слишком пристально каждого пассажира.

— Меня ли уже ищут или других? пробежала мысль. — Посмотреть ли на него или нет? пробежала вторая. — Нет, решил я. По глазам может узнать.

И я, внешне совершенно спокойный, гордо прошел в каюту, откуда старался не выходить, чтобы не встречаться с приставом, ехавшим в Киренск.

— Если встречу с ним, то узнает или нет! думал я. Он видел меня один раз, восемь месяцев тому назад, зимой, когда я ехал в Якутск.

А если узнает. У них память на лица ведь хорошая! Тогда обратно...

При этой мысли я начинал волноваться и совершенно забывал, что имею далеко не тот вид, какой имел в Якутске, и что только хорошо знавший меня мог узнать в купчике политического, бежавшего из ссылки.

Один раз я думал, что на пароходе будет обыск. Во время одной из стоянок бежали с парохода двое уголовных. Конвой рассыпался по тайге, долго искал бежавших, но никого не нашел. Можно было предполагать, что они обыщут и пароход, чтобы проверить, не на нем ли они спрятались. И если бы обыск начался, пришлось бы столкнуться с знакомыми стражниками. В тягостной неизвестности я находился часа два. Но потом все успокоилось, и солдаты махнули на уголовных рукой.

Из Усть-Кута я выехал с знакомым Иркутским купцом на лодке. Через четверо суток — из Жигалова на лошадях до Иркутска, отсюда железной дорогой в Париж.

Мое «путешествие» в общей сложности продолжалось 36 дней без перерыва.

Глава XV

Как следствия одного и того же явления — реставрации реакции после разгрома революции 1905-6 г.г. — политическая ссылка и политическая эмиграция имеют между собою очень много общего.

Революция, втянувшая в свой водоворот громадные массы недовольных людей, должна была после своего разгрома выделить разношерстную, разнонастроенную, «индивидуалистическую», а в общем качественно низкую ссылку, ибо между массовой революцией и степенью идейности ее участников существует обратная пропорциональность.

Этот же «закон» правилен и для политической эмиграции. Но здесь он усложняется многими побочными факторами, отсутствующими в ссылке.

Говоря о ссылке, ссылке современной, совершенно не похожей на ссылку старую 80, 90-х и даже начала 900-х годов, я буду опираться исключительно на факты, игнорируя при этом те из них, которые имеют отношение к экспроприаторской практике. Ибо всякую экспроприацию, всякое воровство можно теоретически обосновать, теоретически оправдать.

Я буду оперировать с фактами, обрисовывающими духовную сущность некоторой части административно и по суду сосланных — именно правой ее части. Правда, трудно в данное время провести демаркационную линию между разными частями ссылки, где в одну кучу правительством свалены и революционеры идеи и дела, и малоидейные, но честные борцы за свободу народа, и разбойники революции, и мошенники идеи, и многие другие представители идейных и уголовных течений. Но даже для мало интересующегося ссылкой

должно быть видно, что она состоит из трех частей — правой, центра и левой, при чем одно время зловоние правой было настолько значительно, что дискредитировало политическую ссылку вообще, и лишь сильный натиск левых, прибегших к газетам и журналам, отстоял престиж политического ссыльного.

Вот несколько портретов «тоже политиков».

С. Д-о. Всю свою жизнь, по его личным рассказам, он старался устроиться на чужой счет. В своей безнравственности и беспринципности доходил до того, что гордился тем, что удалось ему «приворожить» довольно богатую девушку и обобрать ее.

— Теперь, вот, иду в ссылку и имею денежки.

Его спросили, как он в ссылку попал, исповедуя такие идеи.

— Поэтому и попал. Не могу мирно жить. Люблю опасность. Чтобы чутать себя. Там было одно дело. Не узнали, потому и ссылка. Не то...

И вот этот «индивидуалист», любящий сильные ощущения, будучи сослан в первый раз, подал о помиловании. Амнистированный, он начал снова свою «индивидуалистическую» деятельность и... был сослан вторично. Вторично просил о помиловании, был освобожден и... продолжал свою деятельность, цинично приговаривая: живи пока живется. В итоге он... попал в третий раз в ссылку, откуда собирался вновь просить о помиловании.

Я заинтересовался этим «типом». Как-то я спросил его: как вы сочетаете просьбы о помиловании с продолжением вашей практики? Одно из двух. Если вы покаетесь, бросьте

прежнюю жизнь, если не хотите бросать, не покайтесь еще, то зачем такая низость, как на коленях кланчить сожаления. Ведь обманывать таким путем даже врага своего тоже мерзко.. Я не касаюсь другой стороны этих просьб.

— Ответьте мне раньше, почему нельзя обманывать. Почему нельзя врать?

— Да ведь это нечестно, морально — грязно даже с уголовной точки зрения!

— Что такое «нечестно»? Почему врать нечестно? Что такое мораль? Что такое грязь? Ведь это условности. У меня есть своя мораль. Вот вы идейный человек — стремитесь к водворению на земле социалистического рая. Ну положим — есть социализм. Все сыты, обуты, одеты, развиты, культурны. Все — сверхчеловеки. Ну, а дальше что? Каков смысл той, будущей жизни? Смысл жизни культурных и сытых свиней? С какой стати я для такой будущей жизни буду жертвовать собой. Нет, живи во всю в этом мире, живи, как можешь, ничего не признавай, ибо все придумано людьми. А что такое люди? Что такое человек? Кусок мяса и больше ничего.

Такова теория многих, с которыми приходилось сталкиваться. Проявляясь в обыденной жизни, она дает такие уродливые картины, такие невозможные типы, что перо не в состоянии их описать.

Повздорили двое ссыльных: один из «индивидуалистов», другой из той же семейки, сам определивший свою нравственную физиономию — при встрече во дворе Александровской тюрьмы с уголовным.

— А-Б.... За что? Опять за «прихватку»? приветствовал он его.

— Нет! Я теперь уж по части «политики»...

И вот столкнулись эти «политикане».

— Постой, кричит Б —, я тебя «уважу!»

И ...уважил». Ночью когда все спали, он собрал свои собственные экскременты в бумагу и положил их на подушку «врагу». Тот лицом попал в эту «прелесть» и проснулся. Поднял шум, крик...

Утром собрание по поводу «безобразия»....

— Это сделал Б. Никто другой на это не способен.

— Не я!, клянусь жизнью, всем святым не я! Разве я, не понимаю, что это гадость!

Но тут выступил третий.

— Я не хотел вмешиваться в это «дело», но бесстыдство и наглость Б. меня заставляют. Это сделал он. Я не спал и видел, как Б. подкрадывался к постели. Я видел, что он положил сверток, но не смог сообразить «коварства» этого «товарища».

В такой зараженной Д. и Б. атмосфере должны жить все ссыльные. Ужасно мучительная жизнь! Тяжелое нравственное состояние!

И у большинства современных ссыльных, рабочих и крестьян, у «центра» ссылки, состоящего из людей веры в революцию и социалистов, из людей мало искушенных и в вопросах теории, и в вопросах тактики, с трудом разбирающихся в связи реакции с порнографией, разгрома революции и появления революционных хулиганов, но видящие пред собой всю накипь революции, — у большинства ссылки должна явиться и, действительно, является мысль: если везде так, если везде эти отбросы как следствие революционной стихии, то не нужно ли

с ней бороться? Даст ли революция, даже при победе, что либо при наличии таких элементов?...

Против такой деморализации центра выступает левая ссылка. И отбросы чувствуют всю глубину ее презрения и борются с ней «своими средствами», из которых не исключается и угроза ножевой расправой. В Александровской пересыльной тюрьме эти элементы образовали свою собственную «пролетарскую коммуны», с ножами в руках «экспроприировали» у несогласно с ними мыслящих столы, посуду, скамьи, ибо съестных припасов у «непролетариев» никогда не было.

Благодаря «правым» ссылкой ухудшается положение политических в разных тюрьмах, теряется то уважение, которое было ими завоевано упорной и долгой борьбой. Теперь нет его и не может быть — этому мешают те, кто и в тюрьмах, и в ссылке проводит все свое время в пьянстве, карточной игре, кто орудием борьбы с левыми выбирает сплетни, клевету, доносы.

Да, доносы! Такой факт, факт доноса одной части на другую, имел место в Александровской тюрьме.

Правда и то, что есть симптомы, показывающие, что даже городские, не только обыватели, поняли разницу между разными частями ссылки и не валят всех в одну кучу. Они уже отличают «настоящих политиков» от «политической шпанки».

— За ними, говорят агенты по надзору за ссылками, мы не следим. Они не убегут. Чего им бежать! Дома, чай, есть нечего, а здесь пособие получают. Водки и женщин и здесь достать можно. Чего же им еще надо!

Жизнь этой шпаны в ссылке в высшей степени возмутительна. Это прежде всего «принципиальное безделье».

—Почему вы ничего не делаете! Ведь работу найти можно! говаривал я часто.

—Не могу работать, понимаете? Не могу!.. отвечал один.

—Противно работать! прибавлял другой.

—На себя бы работал, а на других не хочу, пояснял третий.

—Но жить же надо?

—Да как-нибудь проживем....

И они жили как-нибудь. Ходили из дома в дом, от знакомого к знакомому, где поедят, где попьют, на биллиарде поиграют, авось повезет, в карты сразятся, авось перепадет маленькая толика.

Бывает и так, что одни «индивидуалисты» начисто обыграют других после получки казенного пособия.

Во вторых — непробудное пьянство. В Якутске имел место следующий случай. Группа, человек в 15, пьянствовала целые сутки. Посреди разгула один умер. Когда явился доктор, на полу лежал труп, около него — ссыльный в бессознательном состоянии, а другой все время совал мертвецу в рот рюмку. Когда доктор констатировал смерть, лишь отдельные из этой группы ушли с попойки. Некоторые продолжали пьянствовать как ни в чем не бывало. Даже коренные сибиряки, жители дальнего севера, пасуют перед таким пьянством.

При следовании партии ссыльных в Якутск летом 1908-го года на паузках произошел следующий случай. Ссыльный Т., предполагая, что никого нет внутри паузка, начал рыться в чужом чемодане. Т., что вы делаете? спросила одна поселенка, которую Т. не заметил. Ведь это не ваш чемодан...

—Я... я... ищу книгу...

В самом Якутске «товарищ» стащил у старого ссыльного 200 р., зайдя к нему в то время, когда тот спал.

Ссыльная, живя на средства другой ссыльной, копила в тоже время «на черный день», выманивая у своей товарки деньги на разные якобы хозяйственные надобности.

Вовремя следования партии ссыльных зимой в Якутск, двое до того напились на одной ночевке, что один заснул в луже, а другой до того матерно ругался, что ссыльные женщины должны были удалиться.

Один «интеллигент» бежал из Олекминска. Пойманный, он дал честное слово не делать попыток к бегству. Его освободили, и он вновь бежал.

Администрация ссылки знает все, что происходит в среде ссыльных. Это объясняется тем, что шпионы рекрутируются из ссыльных.

Я видел, как ссыльный просил одолжить у полицеймейстера пять рублей.

— Вам! ответил полицеймейстер. Вы мне еще должны с прошлого года. Все же дал бы вам, если бы знал, что не на выпивку.

— Не хотите, не надо... мог только ответить этот «политик поступивший вскоре после этого в цирк клоуном.

Потерпев фиаско у «высшей власти», он тут же попросил два рубля у старшего городского. Но и этот не «сочувствовал» политической шпанке.

В Якутске несколько ссыльных образовали воровскую шайку и шайку для хранения краденых вещей. В середине 1908 года несколько было арестовано. Полицеймейстер долго не решался арестовать одного уличенного.

—Как же! говорил он. Неловко... Политик все-таки.

Подобные факты, и даже почище, имели место не только в Якутске, но и в других местах — в Туруханском крае и в Астраханской губернии, но и перечисленных мною достаточно, чтобы понять, как мучительна жизнь совершенно здоровых людей в подобной атмосфере.

Тяжесть этой жизни толкает к побегам и тех, кому побег даже невыгоден. Там, думают они, за рубежом, вне пределов досягаемости, можно будет вздохнуть легче, там другой воздух, другие люди, другие нравы, другие отношения....

Глубокое разочарование ждет таких оптимистов. Политическая эмиграция — та же ссылка, еще хуже, ибо там громадное влияние на ненормальность жизни оказывают «гиблые места», здесь же — подлость человеческой природы.

Казалось бы, что здесь на чужбине чувства солидарности должны были быть крепче, чем где бы то ни было, но этого то и нет даже в среде одинаково мыслящих. Одной из причин является — резкая противоположность личной жизни эмигранта-рабочего, эмигранта-интеллигента, эмигранта-вожака партии и эмигранта-безработного.

«Мы требуем от братьев выработки крепкого убеждения и жизни, согласной с этими убеждениями», — писал П. Лавров лет 35 тому назад. Эти слова дошли до нашего поколения, которое передало их и распространило в рабочих массах, которое гордилось сравнительно недавно тем, что в «нашей партии» личная жизнь партийных людей, особенно же вожаков и лидеров, не расходится с убеждениями и принципами.

Русский рабочий, русский крестьянин до последнего времени был такого же мнения. Но факты жизни рассеивают эту иллюзию, а факты жизни эмигрантской еще более способствуют этому.

Вот перед вами «верхи», интересующиеся лишь теми, кто около них. Быть может это практически объяснимо, но психологии масс непонятно и теоретически недопустимо. И ясно почему у рабочего вырабатывается взгляд о «верхах», как группе черствой, эгоистичной, узко-фанатичной и нетерпимой....

Отношения обостряются, создается атмосфера, пропитанная недоверием и злобой.

Здесь мы встречаем те же отрицательные типы, проявляющие свою «индивидуальность» в.... культурной форме.

Вот «эмигрант», пользующийся помощью товарищей и копящий деньги.

Вот другой предпочитающий лучше жить впроголодь, чем работать.

Вот «эмигрантка», демонстрирующая пред своими «товарищами» богатство своего туалета.

Вот еще одна, демонстрирующая «откровенность» своего костюма.

Таковы факты, подхватываемые озлобленными и раздуваемые в «неслыханное преступление».

Эти факты — почва для роста той махаевщины, которая корень зла всего социалистического движения видит в «злой воле» интеллигенции, почва для того разброда и распада, которыми так богата жизнь социалистических партий и что является тормозом на пути сплочения сил для продолжения

великой революционной борьбы за освобождение русского народа.